



НБФ

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

СБОРНИК
**МИРИАДЫ
МИРОВ**

Новая библиотека фантастики

Сборник
Мириады миров

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Сборник

Мириады миров / Сборник — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», — (Новая библиотека фантастики)

ISBN 978-0-88-715504-8

Человечество пока одиноко. Во всяком случае, так оно думает. Всего-то одна у нас планетка, третья по счёту от единственной звезды нашей Солнечной системы, типа G2V, «жёлтый карлик». Даже собственный небесный спутник, Луна толком не освоена. Одиноко и грустно, нам землянам, среди космической пустоты. Словно последним, не забранным из детского садика детям, родители которых серьёзно опаздывают. Может быть поэтому, людям, как детям малым, так свойственно придумывать себе друзей. Мол, не одиноки мы во Вселенной. Пусть и воображаемых, а там, как знать, вдруг и реальные пожалуют. Или мы к ним... Издательство Стрельбицкого с радостью предлагает своим дорогим читателям новый (восьмой) том из серии «Новая Библиотека Фантастики» - «Мириады миров». Здесь каждый сможет найти себе рассказ, повесть или рассказ по душе – от классических, но сравнительно малоизвестных произведений Герберта Уэллса и до совершенно новых вещей известных петербургских писательниц Елены Ворон и Юлии Черновой. Вещей о нашем космическом всё-таки НЕОДИНОЧЕСТВЕ, каким бы оно ни было. Герберт Уэллс «Люди, как боги», «Муравьиная империя» Елена Ворон «Шпионские страсти» Андре Лори (Паскаль Груссе), «Радомехский карлик», «Изгнанники Земли» Евгений Сно «Междупланетное свидание» Юлия Чернова «Танец в невесомости» П.Н.Г. «Стальной замок»

ISBN 978-0-88-715504-8

© Сборник
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС	6
ЛЮДИ КАК БОГИ	6
КНИГА ПЕРВАЯ	6
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава четвертая	23
Глава пятая	27
Глава шестая	39
Глава седьмая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Герберт Уэллс
Елена Ворон
Андре Лори
Евгений Эдуардович Сно
Юлия Чернова
П. Н. Г**

МИРИАДЫ МИРОВ

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

ЛЮДИ КАК БОГИ

Перевод Л. М. Карнауховой (1929)

**КНИГА ПЕРВАЯ
ВТОРЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН**

**Глава первая
МИСТЕР БАРНСТЕЙПЛ РЕШАЕТ ОТДОХНУТЬ**

1

Мистер Барнстейпл почувствовал, что самым настоящим образом нуждается в отдыхе, но поехать ему было не с кем и некуда. А он был переутомлен. И он устал от своей семьи.

По натуре он был человеком очень привязчивым; он нежно любил жену и детей и поэтому знал их наизусть, так что в подобные периоды душевной подавленности они его невыносимо раздражали. Трое его сыновей, дружно взрослевшие, казалось, с каждым днем становились все более широкоплечими и долговыми, они усаживались именно в то кресло, которое он только что облюбовал для себя; они доводили его до иступления с помощью им же купленной пианолы, они сотрясали дом оглушительным хохотом, а спросить, над чем они смеются, было неудобно; они перебивали ему дорогу в безобидном отеческом флирте, до тех пор составлявшем одно из главных его утешений в этой юдоли скорби; они обыгрывали его в теннис; они в шутку затевали драки на лестничных площадках и с невообразимым грохотом по двое и по трое катились вниз. Их шляпы валялись повсюду. Они опаздывали к завтраку. Каждый вечер

они укладывались спать под громовые раскаты: «Ха-ха-ха! Бац!» – а их матери это как будто было приятно. Они обходились недешево, но вовсе не желали считаться с тем, что цены растут в отличие от жалованья мистера Барнстейпла. А когда за завтраком или обедом он позволял себе без обиняков высказаться о мистере Ллойд Джордже или пытался придать хоть некоторую серьезность пустой застольной болтовне, они слушали его с демонстративной рассеянностью... во всяком случае, так ему казалось.

Ему страшно хотелось уехать от своей семьи куда-нибудь подальше, туда, где он мог бы думать о жене и сыновьях с любовью и тихой гордостью или не думать совсем...

А кроме того ему хотелось на некоторое время уехать подальше от мистера Пиви. Городские улицы стали для него источником мучений – он больше не мог выносить даже вида газет или газетных афишек. Его томило гнетущее предчувствие гигантского финансового и экономического краха, по сравнению с которым недавняя мировая война покажется сущим пустяком. И все это объяснялось тем, что он был помощником редактора и фактотумом в «Либерале», известном рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли, и неизбывный пессимизм его шефа, мистера Пиви, заражал его все больше и больше. Прежде ему удавалось как-то сопротивляться мистеру Пиви, подшучивая над его мрачностью в частных беседах с другими сотрудниками, но теперь в редакции не было других сотрудников: мистер Пиви уволил их в особенно остром припадке финансового пессимизма. Практически теперь для «Либерала» писали регулярно только мистер Барнстейпл и мистер Пиви, так что мистер Барнстейпл оказался в полной власти мистера Пиви. Глубоко засунув руки в карманы брюк и сгорбившись в своем редакторском кресле, мистер Пиви весьма мрачно оценивал положение вещей, иногда не умолкая по два часа подряд. Мистер Барнстейпл от природы был склонен надеяться на лучшее и верил в прогресс, однако мистер Пиви безапелляционно утверждал, что вера в прогресс вот уже шесть лет как полностью устарела и что либерализму остается надеяться разве только на скорый приход какого-нибудь Судного Дня. Затем, завершив передовицу, которую сотрудники редакции – когда в ней еще были сотрудники – имели обыкновение называть его «еженедельным несварением», мистер Пиви удалялся, предоставляя мистеру Барнстейплу заботиться об остальной части номера для следующей недели.

Даже в обычные времена терпеть общество мистера Пиви было бы нелегко, но времена отнюдь не были обычными; они слагались из крайне неприятных событий, которые давали достаточно оснований для мрачных предчувствий. Уже месяц в угольной промышленности длился широчайший локаут, казалось, предвещавший экономическую гибель Англии; каждое утро приносило вести о новых возмутительных инцидентах в Ирландии – инцидентах, которые невозможно было ни простить, ни забыть; длительная засуха угрожала погубить урожай во всем мире; Лига Наций, от которой мистер Барнстейпл в великие дни президента Вильсона ожидал огромных свершений, оказалась жалкой самодовольной пустышкой; повсюду царили вражда и безумие; семь восьмых мира, казалось, стремительно приближались к состоянию хронического хаоса и социального разложения. Даже и без мистера Пиви было бы трудно сохранять оптимизм перед лицом таких фактов.

И действительно, организм мистера Барнстейпла переставал вырабатывать надежду, а для людей его типа надежда – необходимый фермент, без которого они оказываются неспособными переваривать жизнь. Свою надежду он всегда возлагал на либерализм и на его благородные усилия, но теперь он постепенно начинал склоняться к мысли, что либерализм способен только сидеть, сгорбившись и засунув руки в карманы и брюзгливо ворчать по поводу деятельности людей менее возвышенного образа мыслей, но зато более энергичных, чьи свары неизбежно погубят мир.

И теперь мистер Барнстейпл днем и ночью терзался мыслями о положении в мире. И ночью даже больше, чем днем, поскольку у него началась бессонница. А кроме того его неотступно преследовало отчаянное желание выпустить собственный номер «Либерала», целиком

его собственный, – изменить макет после ухода мистера Пиви, выбросить все желчные излияния, все пустопорожние нападки на такую-то или такую-то ошибку, злорадное смакование жестокостей и несчастий, раздувание простых, естественных человеческих грешков мистера Ллойд Джорджа в преступления, выбросить все призывы к лорду Грею, лорду Роберту Сесилю, лорду Лэнсдауну, королеве Анне или императору Фридриху Барбароссе (адресат менялся из недели в неделю), воскреснуть, дабы выразить и воплотить юные надежды возрожденного мира, – выбросить все это и взамен посвятить номер Утопии! Сказать пораженным читателям «Либерала» «Вот то, что необходимо сделать! Вот то, что мы собираемся сделать!» Как ошарашен будет мистер Пиви, когда в воскресенье за завтраком он откроет свою газету! От такого удара у него, пожалуй, повысится выделение желудочного сока, и ему, быть может, удастся переварить хотя бы этот завтрак!

Но все это были только пустые мечты. Дома его ждали три юных Барнстейпла, и он был обязан всемерно облегчить им начало самостоятельной жизни. А кроме того, хотя в мечтах это представлялось замечательным, мистер Барнстейпл в глубине души испытывал крайне неприятную уверенность, что для осуществления подобного замысла у него не хватит ни ума, ни таланта. Он обязательно все испортит.

Ведь из огня можно угодить и в полымя. «Либерал» был унылой, пессимистической, брюзгливой газетой, но его, по крайней мере, нельзя было назвать ни подлой, ни вредной газетой.

Но как бы то ни было, во избежание подобного катастрофического взрыва мистеру Барнстейплу настоятельно требовалось некоторое время отдохнуть от мистера Пиви. Он и так уже раза два начинал ему противоречить. Ссора могла вспыхнуть в любую минуту. И совершенно очевидно, что в качестве первого шага к отдыху от мистера Пиви надо было посетить врача. И вот мистер Барнстейпл отправился к врачу.

– У меня шалют нервы, сказал мистер Барнстейпл. – Мне кажется, я становлюсь ужасным неврастеником.

– Вы больны неврастением, сказал врач.

– Я чувствую отвращение к моей работе.

– Вам необходимо отдохнуть.

– Вы полагаете, что мне следует переменить обстановку?

– Настолько радикально, настолько это возможно.

– Не посоветуете ли вы, куда мне лучше всего поехать?

– А куда вам хотелось бы поехать?

– Да никуда конкретно. Я думал, вы посоветуете...

– Облюбуйте какое-нибудь место... и поезжайте туда. Ни в коем случае не насилюйте сейчас ваших желаний.

Мистер Барнстейпл заплатил доктору положенную гиней и, вооружившись этими наставлениями, приготовился ждать подходящего случая, чтобы сообщить мистеру Пиви о своей болезни и о том, что ему требуется отпуск.

2

В течение некоторого времени этот будущий отдых оставался всего лишь новым добавлением к бремени тревог, терзавших мистера Барнстейпла. Решиться уехать значило столкнуться с тремя на первый взгляд непреодолимыми трудностями: каким образом уехать? Куда? И – поскольку мистер Барнстейпл принадлежал к числу людей, которым весьма быстро надоедает собственное общество, – с кем? Уныние, последнее время не сходявшее с лица мистера Барнстейпла, теперь порой внезапно сменялось хитроватой настороженностью тайного интригана. Впрочем, никто не обращал особого внимания на выражение лица мистера Барнстейпла.

Одно ему было совершенно ясно: домашние ни в коем случае не должны догадаться о его планах. Если миссис Барнстейпл проводит о них, то дальнейшее известно: она преданно и деловито возьмет на себя все заботы. «Тебе надо отдохнуть как следует!» – скажет она. Затем она выберет какой-нибудь отдаленный и дорогой курорт в Корнуэлле, Шотландии или Бретани, накупит массу дорожных вещей, будет то и дело что-нибудь добавлять, так что в последнюю минуту багаж обрстет множеством неудобных пакетов, и непременно захватит с собой сыновей. Она, возможно, кроме того, уговорит нескольких знакомых поехать туда же, «чтобы было веселей». А эти знакомые, если они поедут, наверняка прихватят с собой худшие стороны своего характера и будут надоедать ему с поразительной неустойчивостью. Говорить будет не о чем. Все будут вымученно смеяться. Играть в бесконечные игры... Нет!!!

Но может ли муж уехать отдыхать так, чтобы об этом не проведала его жена? Надо ведь уложить чемодан, незаметно вынести его из дому.

Однако в положении мистера Барнстейпла имелось одно обстоятельство, которое, с точки зрения мистера Барнстейпла, обещало надежду на благополучный исход: у него был маленький автомобиль, и пользовался им только он один. Естественно, что в его тайных планах этому автомобилю отводилась существенная роль. Он, казалось, давал наиболее простую возможность уехать, он превращал ответ на вопрос «куда?» из точного названия конкретного места в то, что математики, если не ошибаюсь, называют траекторией; и в этой зверушке было что-то настолько уютно-добротное, что она, хотя и в малой степени, но все же отвечала на вопрос «с кем?» Это был двухместный автомобильчик. В семье его называли «лоханкой», «горчицей Колмена» и «желтой опасностью» По этим прозвищам нетрудно догадаться, что это была низкая открытая машина пронзительно-желтого цвета. Мистер Барнстейпл ездил на ней из Сайденхема в редакцию, потому что она расходовала всего один галлон бензина на тридцать три мили, и это обходилось намного дешевле сезонного билета. Днем автомобильчик стоял под окнами редакции во дворе, а в Сайденхеме жил в сарае, единственный ключ от которого мистер Барнстейпл всегда носил с собой. Благодаря этому сыновьям мистера Барнстейпла пока еще не удалось ни завладеть автомобилем, ни разобрать его на составные части. Иногда миссис Барнстейпл, отправляясь за покупками, заставляла мужа возить ее по Сайденхему, но в глубине души она недолюбливала автомобильчик, потому что он отдавал ее на произвол ветра, который покрывал ее пылью и трепал прическу. Все, что автомобильчик делал возможным, и все, что он делал невозможным, превращало его в наилучшее средство для столь необходимого отдыха. А, кроме того, мистер Барнстейпл любил ездить на своем автомобиле. Правил он очень скверно, но зато крайне осторожно, и хотя автомобильчик порой останавливался и отказывался ехать дальше, он (во всяком случае, до сих пор) еще ни разу не позволил себе того, чего мистер Барнстейпл привык ожидать от большинства вещей, с которыми сталкивался в жизни, а именно не ехал прямо на восток, когда мистер Барнстейпл поворачивал рулевое колесо прямо на запад. И в его обществе мистер Барнстейпл чувствовал себя хозяином положения, а это было приятное чувство.

И все же окончательное решение мистер Барнстейпл принял почти внезапно. Ему неожиданно представился удобный случай. По четвергам он бывал в типографии и в этот четверг вернулся вечером домой совсем обессиленный. Палящая жара упорно не спадала и не становилась более сносной из-за того, что засуха сушила голод и горе половине населения земли. А лондонский сезон, элегантный и ухмыляющийся был в полном разгаре: глупостью он, пожалуй, умудрился превзойти даже лето 1913 года – великого года танго, который в свете последующих событий мистер Барнстейпл до сих пор считал глупейшим годом во всей истории человечества. «Стар» сообщала обычный набор скверных новостей, скромно ютившихся по соседству со спортивной и светской хроникой, занимавшими наиболее видное место. Продолжались бои между русскими и поляками, а также в Ирландии, Малой Азии, на индийской границе и в Восточной Сибири. Произошло еще три зверских убийства. Горняки по-прежнему бастовали,

и вот-вот должна была вспыхнуть большая стачка машиностроительных рабочих. На скамьях пригородного поезда не нашлось ни одного свободного местечка, и он тронулся с опозданием на двадцать минут.

Дома мистер Барнстейпл нашел записку от жены: ее родственники прислали телеграмму из Уимблдона о том, что неожиданно возникла возможность посмотреть игру мадемуазель Ленглен и всех других теннисных чемпионов, – она уехала с мальчиками, и они вернутся очень поздно. Мальчикам необходимо посмотреть настоящий теннис, тогда они и сами станут играть лучше, писала она. Кроме того, сегодня у горничной и кухарки свободный вечер. Он не очень рассердится, если ему разок придется посидеть дома одному? Кухарка перед уходом оставит ему в столовой холодный ужин.

Мистер Барнстейпл прочел эту записку с чувством покорности судьбе. Ужиная, он просмотрел брошюру, которую ему прислал знакомый китаец, чтобы показать, как японцы сознательно уничтожают все, что еще сохранилось от китайской цивилизации и культуры.

И только когда мистер Барнстейпл после ужина устроился с трубкой в садике позади дома, он вдруг сообразил, какие возможности открывает перед ним его неожиданное одиночество.

Он начал действовать немедленно. Он позвонил мистеру Пиви, сообщил ему о заключении врача, объяснил, что именно сейчас его отъезд может пройти для «Либерала» почти безболезненно, и добился желанного отпуска. Потом он поспешил к себе в спальню, торопливо уложил необходимые вещи в старый саквояж, исчезновение которого вряд ли могло быть скоро замечено, и спрятал его в багажник автомобиля. Вернувшись в дом, он довольно долго трудился над письмом жене, которое затем засунул в нагрудный карман пиджака.

Когда с этим было покончено, он запер сарай и расположился в саду в шезлонге с трубкой и хорошей, обстоятельной книгой, посвященной банкротству Европы, чтобы жена и сыновья, вернувшись домой, не заподозрили ничего необычного.

Вечером он словно между прочим сообщил жене, что у него последнее время пошаливают нервы и что на следующий день он поедет в Лондон посоветоваться с врачом.

Миссис Барнстейпл хотела было сама выбрать для него доктора, но он вышел из затруднения, заявив, что в этом вопросе ему следует считаться с желаниями Пиви и что Пиви настоятельно рекомендовал ему своего доктора (того самого, с которым он на самом деле уже советовался). А когда миссис Барнстейпл сказала, что, по ее мнению, им всем нужно как следует отдохнуть, он буркнул в ответ что-то невнятное.

Таким образом, мистеру Барнстейплу удалось уехать из дому, захватив все необходимое для нескольких недель отдыха и не вызвав сопротивления, которое ему вряд ли удалось бы преодолеть. На следующее утро, выехав на шоссе, он повернул в сторону Лондона. Движение по шоссе было оживленным, но не настолько, чтобы затруднить мистера Барнстейпла, и «желтая опасность» вела себя так хорошо и мило, что ее стоило бы переименовать в «золотую надежду». В Камберуэлле он свернул на Камберуэлл-ню-роуд и остановился у почты в конце Воксхолл-бридж-роуд. Пугаясь и радуясь собственной смелости, он пошел на почту и отправил жене следующую телеграмму:

«Доктор Пейген настоятельно рекомендует немедленный отдых одиночество отправляюсь Озерный край предполагая это захватил саквояж вещи подробности письмом».

Затем, выйдя на улицу, он порылся в кармане, вытащил письмо, которое так старательно сочинял накануне, и бросил его в ящик. Оно специально было написано каракулями, долженствовавшими навести на мысль об острой форме неврастении. Доктор Пейген, говорилось в нем, прописал немедленный отдых и посоветовал «побродить по северу». Ему полезно будет несколько дней или даже неделю не писать и не получать писем. Он не станет писать, если только не произойдет какого-нибудь несчастья. Нет вестей – значит, хорошие вести. И вообще

все будет отлично. Как только он решит, где остановиться, он протелеграфирует адрес, но писать ему следует только в случае крайней необходимости.

После этого мистер Барнстейпл снова уселся за руль с блаженным чувством свободы, какого не испытывал с тех пор, как в первый раз уехал из школы на каникулы. Он собирался выбраться на Большое Северное шоссе, но попал в затор у Гайд-парк Корнер и, следуя указанию полицейского, повернул в сторону Найтсбриджа, а когда оказался на перекрестке, где от Оксфордского шоссе ответвляется шоссе на Бат, то, не желая ожидать, пока тяжелый фургон освободит ему путь, свернул на дорогу в Бат. Это ведь не имело ни малейшего значения. Любое шоссе вело вдаль, а отправиться на север можно будет и позже.

3

День был ослепительно солнечный, как почти все дни великой засухи 1921 года. Однако он несколько не был душным. В воздухе даже чувствовалась свежесть, очень подходившая к бодрому настроению мистера Барнстейпла, и его не покидала уверенность, что ему предстоят всякие приятные приключения. Надежда вновь вернулась к нему. Он знал, что этот путь уведет его далеко от мира привычных вещей, но ему и в голову не приходило, какая пропасть отделит его от мира привычных вещей в конце этого пути. Он с удовольствием думал, что скоро остановится у какой-нибудь придорожной гостиницы и перекусит. А если ему станет скучно то, отправившись дальше, он подвезет кого-нибудь, чтобы было с кем поговорить. А найти попутчика будет нетрудно. Он готов ехать в любом направлении, лишь бы не назад к Сайденхему и редакции «Либерала».

Едва он выехал из Слау, как его обогнал огромный серый автомобиль. Мистер Барнстейпл вздрогнул и шарахнулся в сторону. Серый автомобиль, даже не просигналив, скользнул мимо, и хотя, согласно лишь чуть-чуть привиравшему спидометру, мистер Барнстейпл ехал со скоростью добрых двадцати семи миль в час, эта машина обогнала его за одну секунду. В ней, заметил он, сидело трое мужчин и одна дама. Все они сидели выпрямившись и повернув головы, словно интересуясь чем-то, оставшимся позади. Они промелькнули мимо очень быстро, и он успел разглядеть только, что дама ослепительно красива яркой и бесспорной красотой, а ее спутник, сидящий слева похож на состарившегося эльфа.

Не успел мистер Барнстейпл опомниться от этого происшествия, как другой автомобиль, наделенный голосом доисторического ящера, предупредил, что собирается его обогнать. Мистер Барнстейпл любил, чтобы его обгоняли именно так после надлежащих переговоров. Он уменьшил скорость, освободил середину шоссе и сделал приглашающий жест. Большой стремительный лимузин внял его разрешению воспользоваться тридцатью с лишком футами освободившейся ширины дороги. В лимузине было много багажа, но из всех пассажиров мистер Барнстейпл успел заметить только молодого человека с моноклем в глазу, сидевшего рядом с шофером. Вслед за серым автомобилем лимузин исчез за ближайшим поворотом.

Однако даже механизированная лоханка возмутится, если ее столь высокомерно обгоняют в такое солнечное утро на свободной дороге. Акселератор мистера Барнстейпла пошел вниз, и он миновал этот поворот на добрых десять миль быстрее, чем позволяла его обычная осторожность. Шоссе впереди было пустынно.

Даже слишком пустынно. Оно отлично просматривалось на треть мили вперед. Слева его окаймляла низкая, аккуратно подстриженная живая изгородь, за ней виднелись купы деревьев, ровные поля, за ними – небольшие домики, одинокие тополя, а вдаль – Виндзорский замок. Справа расстился ровный луг, стояла маленькая гостиница, а дальше тянулась цепь невысоких лесистых холмов. Самым ярким пятном на этом мирном ландшафте была реклама какого-то отеля на речном берегу в Мейденхеде. Над полотном дороги колебалось жаркое марево, и

крутились крохотные пылевые смерчи. И нигде не было видно серого автомобиля, и нигде не было видно лимузина.

Мистеру Барнстейплу потребовалось почти целых две секунды, чтобы осознать всю поразительность этого факта. Ни справа, ни слева от шоссе не ответвлялось ни одной дороги, на которую могли бы свернуть эти автомобили. Если они уже успели скрыться за дальним поворотом, это означало, что они мчались со скоростью двести, а то и триста миль в час!

У мистера Барнстейпла было похвальное обыкновение снижать скорость в тех случаях, когда он терялся. Он снизил скорость и сейчас он ехал не быстрее пятнадцати миль в час, изумленно озираясь по сторонам в поисках разгадки этого таинственного исчезновения. Как ни странно, у него не было ощущения, что ему угрожает какая-то опасность.

Но тут автомобиль словно наткнулся на что-то, и его занесло. Он повернул так стремительно, что на секунду мистер Барнстейпл совсем потерял голову. Он не мог вспомнить, что надо делать в таких случаях. Правда, ему смутно мерещилось, что полагается повернуть руль в сторону заноса, но в горячке волнения он никак не мог сообразить, в какую именно сторону занесло автомобиль.

Потом он вспоминал, что в это мгновение услышал какой-то звук. Именно такой, каким разрешается накапливавшееся давление, резкий, словно звон оборвавшейся струны, который слышишь, когда теряешь сознание под наркозом или когда приходишь в себя.

Ему казалось, что автомобиль завернуло к живой изгороди справа, однако дорога по-прежнему простиралась прямо перед ним. Он нажал было на акселератор, но тут же затормозил и остановился. Он остановился, пораженный удивлением.

Это было совсем не то шоссе, по которому он ехал всего тридцать секунд назад. Изгородь изменилась, деревья стали другими, Виндзорский замок исчез, и в качестве некоторой компенсации впереди вновь возник большой лимузин. Он стоял у обочины ярдах в двухстах дальше по дороге.

Глава вторая УДИВИТЕЛЬНАЯ ДОРОГА

1

В течение некоторого времени внимание мистера Барнстейпла в очень неравной пропорции раздвигалось между лимузином, пассажиры которого тем временем вышли на дорогу, и окружающим его ландшафтом. Этот последний был настолько удивителен и прекрасен, что группа людей впереди занимала мистера Барнстейпла лишь постольку, поскольку он предполагал, что они должны были разделять его изумление и восторг и, значит, могли как-то помочь ему рассеять его все растущее недоумение.

Сама дорога уже не была обычным английским шоссе из спрессованной гальки и грязи, покрытой варом, на который налип всякий мусор, пыль и экскременты животных. Оно, казалось, было сделано из стекла, то прозрачного, как вода тихого озера, то молочно-белого или жемчужного, пронизанного радужными прожилками или сверкающими облачками золотистых снежинок. Шириной она была ярдов в двенадцать-пятнадцать. По обеим ее сторонам зеленела трава, прекрасней которой мистеру Барнстейплу не приходилось видеть, хотя он был любителем и знатоком газонов, а за ней пестрело настоящее море цветов. У того места, где сидел в своем автомобиле ошеломленный мистер Барнстейпл, и еще ярдов на тридцать в обе стороны за полосой травы густо росли какие-то незнакомые цветы, голубые, как незабудки. Дальше они все больше вытеснялись высокими, ослепительно-белыми кистями и в конце концов исчезали вовсе. По ту сторону дороги эти белые кисти были перемешаны с буйной мас-

сой каких-то также незнакомых мистеру Барнстейплу растений, увешанных семенными коробочками; они перемежались венчиками синих, палевых и лиловых оттенков, переходивших в конце концов в огненно-красную полосу. За этой великолепной цветочной пеной простирались ровные луга, где паслись бледно-золотистые коровы. Три из них, стоявшие поблизости и, возможно, несколько пораженные внезапным появлением мистера Барнстейпла, жевали свою жвачку и поглядывали на него с задумчивым добродушием. У них были длинные рога и отвислые складки на шее, как у южноевропейского и индийского скота. Затем мистер Барнстейпл перевел взгляд от этих безмятежных созданий на бесконечный ряд деревьев, чья форма напоминала языки пламени, на бело-золотую колоннаду и на замыкавшие горизонт вершины гор. В ослепительно синем небе плыли курчавые облака. Воздух показался мистеру Барнстейплу удивительно прозрачным и благоуханным.

Если не считать коров и группы людей у лимузина, вокруг не было видно ни одной живой души. Пассажиры лимузина стояли, недоуменно озираясь по сторонам. До мистера Барнстейпла донеслись раздраженные голоса.

Громкий треск, раздавшийся где-то сзади, заставил мистера Барнстейпла обернуться. Возле дороги, примерно в том же направлении, откуда мог попасть на нее его автомобиль, виднелись развалины каменного здания, очевидно, разрушенного совсем недавно. Возле него торчали две только что сломанные яблони, скрученные и расщепленные, словно взрывом, а из развалин поднимался столб дыма и доносился рев разгорающегося огня. Поглядев на изуродованные яблони, мистер Барнстейпл вдруг заметил, что цветы у дороги рядом с ним тоже полегли в одном направлении, как будто от резкого порыва ветра. Но ведь он не слышал никакого взрыва, не чувствовал никакого ветра!

Несколько минут он недоуменно смотрел на развалины, а потом, словно ожидая объяснения, оглянулся на лимузин. Трое из пассажиров шли теперь по дороге, направляясь к нему, – впереди высокий, худощавый седой господин в фетровой шляпе и длинном дорожном пыльнике. Лицо у него было маленькое, дернутое кверху, а носик такой крохотный, что позолоченное пенсне еле-еле на нем удерживалось. Мистер Барнстейпл завел свой автомобиль и медленно поехал к ним навстречу.

Когда, по его расчетам, они сблизились настолько, что могли без труда расслышать друг друга, он остановил «желтую опасность» и перегнулся через борт, собираясь задать вопрос. Но в ту же секунду высокий седой господин обратился к нему с этим же самым вопросом.

– Не могли бы вы сказать мне, сэр, где мы находимся? – спросил он.

2

– Пять минут назад. – ответил мистер Барнстейпл, – я сказал бы, что мы находимся на Мейденхедском шоссе. Вблизи Слау.

– Вот именно! – убежденным и назидательным тоном подтвердил высокий господин. – Вот именно! И я утверждаю, что нет ни малейших оснований предполагать, что сейчас мы находимся не на Мейденхедском шоссе.

В его тоне прозвучал вызов искусного спорщика.

– Но все это непохоже на Мейденхедское шоссе, – заметил мистер Барнстейпл.

– Согласен! Но должны ли мы исходить из видимости или из непрерывности собственного опыта? Мейденхедское шоссе привело нас сюда, оно непосредственно связано с этим местом, и поэтому я утверждаю, что это – Мейденхедское шоссе.

– А как же горы? – спросил мистер Барнстейпл.

– Там полагается быть Виндзорскому замку, – живо сказал высокий господин, словно делая гамбитный ход.

– Пять минут назад он там и был, – сказал мистер Барнстейпл.

– Отсюда неопровержимо следует, что эти горы – маскировка, – с торжеством заявил высокий господин, – а все происшедшее – какой-то как выражаются в наши дни, «розыгрыш».

– В таком случае это разыграно удивительно ловко, – заметил мистер Барнстейпл.

Наступило молчание, и мистер Барнстейпл воспользовался им, чтобы рассмотреть спутников своего собеседника. Его самого он узнал сразу, так как не раз видел его на различных собраниях и торжественных банкетах. Это был мистер Сесиль Берли, знаменитый лидер консервативной партии. Он прославится не только своей политической деятельностью, но и был известен как человек безупречной репутации, философ и эрудит. Чуть позади него стоял невысокий, коренастый человек средних лет, незнакомый мистеру Барнстейплу. Выражение высокомерной брезгливости, присущее его лицу, еще усиливалось благодаря моноклю. Их третий спутник показался мистеру Барнстейплу знакомым, но ему не удалось вспомнить, кто это такой. Чисто выбритая круглая пухлая физиономия, упитанное тело, а главное, костюм делали его похожим на священника Высокой церкви или даже на преуспевающего католического папашу.

Теперь пронзительным фальцетом заговорил молодой человек с моноклем:

– Я проезжал по этому шоссе в Тэплоу-Корт всего месяц назад, и тут ничего подобного не было.

– Признаю, что мне не все ясно, – с наслаждением произнес мистер Берли, – Признаю, что мне многое неясно. Но все же осмелюсь полагать, что в своей основной предпосылке я прав.

– Вы ведь не думаете, что это Мейденхедское шоссе! – безапелляционно заявил мистеру Барнстейплу господин с моноклем.

– Все это выглядит слишком совершенным для того, чтобы быть подстроением, – мягко, но упрямо сказал мистер Барнстейпл.

– Что вы, дорогой сэр! – запротестовал мистер Берли. – Это шоссе на всю страну знаменито своими садами, и они иногда устраивают самые поразительные выставки. Для рекламы, знаете ли.

– В таком случае, почему мы не едем сейчас в Тэплоу-Корт? – спросил господин с моноклем.

– Потому что, – ответил мистер Берли с легким раздражением человека, вынужденного повторять всем известный факт, с которым упрямо не желают считаться, – потому что Руперт утверждает, будто мы попали в какой-то другой мир. И отказывается ехать дальше. Вот почему. Он всегда страдал избытком воображения. Он считает, что несуществующее может существовать. А сейчас он внушил себе, что произошло нечто в духе научно-фантастических романов и мы очутились вне нашего мира. В каком-то ином измерении. Порой мне кажется, что для нас всех было бы лучше, если бы Руперт начал писать фантастические романы вместо того, чтобы пытаться воплощать их сюжеты в жизнь. Если вы, как его секретарь, полагаете, что вам удастся убедить его поторопиться в Тэплоу-Корт, чтобы не опоздать к завтраку с виндзорским обществом...

И мистер Берли взмахнул рукой, заканчивая мысль, для которой у него не нашлось достаточно весомых слов.

Мистер Барнстейпл уже заметил медлительного рыжевато-белого человека в сером цилиндре с черной лентой, прославленном карикатуристами. Он внимательно исследовал цветочную чащу около лимузина. Значит, это действительно не кто иной, как сам Руперт Кэтскилл, военный министр. И впервые в жизни мистер Барнстейпл почувствовал, что полностью согласен с этим чрезмерно склонным к авантюрам государственным мужем. Они действительно попали в иной мир. Мистер Барнстейпл вылез из автомобиля и сказал, обращаясь к мистеру Берли:

– Я полагаю, сэр, что мы получим гораздо более ясное представление о том, где мы находимся, если рассмотрим поближе вон то горящее здание. Мне кажется, дальше, на склоне, кто-то лежит. Если бы нам удалось поймать кого-нибудь из этих шутиков...

Он умолк, так как на самом деле вовсе не верил в то, что они стали жертвой шутки. За последние пять минут мистер Берли чрезвычайно упал в его глазах.

Все четверо повернулись к дымящимся развалинам.

– Поразительно, что нигде не видно ни одной живой души, – заметил господин с моноклем, оглядывая даль.

– Ну, я не усматриваю ничего нежелательного в том, чтобы выяснить, что там горит, – сказал мистер Берли и первым направился к разрушенному дому среди сломанных деревьев – на его интеллигентном лице было написано ожидание.

Но не успел он сделать и пяти шагов, как их внимание было снова привлечено к лимузину: сидевшая в нем дама вдруг испустила громкий вопль ужаса.

3

– Нет, это уже переходит все границы! – воскликнул мистер Берли с искренним негодованием. – Несомненно, полицейские установления запрещают что-либо подобное.

– Он сбежал из какого-нибудь бродячего зверинца, – заметил господин с моноклем. – Что нам следует предпринять?

– С виду он совсем ручной, – сказал мистер Барнстейпл, не проявляя, однако, ни малейшего желания проверить свою теорию на практике.

– И все-таки он может опасно напугать людей, – заявил мистер Берли и с тем же невозмутимым спокойствием крикнул: – Не бойтесь, Стелла! Он, разумеется, ручной и не причинит вам ни малейшего вреда. Только не дразните его этим зонтиком. Он может броситься на вас. Стел-л-ла!

«Он» был крупным, необычайно пестрым леопардом, который бесшумно вынырнул из цветочного моря и, словно огромный кот, уселся на стеклянной дороге возле лимузина. Он растерянно мигал и ритмично помахивал головой, с недоумением и интересом наблюдая, как молодая дама, следуя лучшим традициям, принятым в подобных случаях, со всей возможной быстротой открывала и закрывала перед его мордой свой солнечный зонтик. Шофер укрылся за автомобилем. Мистер Руперт Кэтскилл стоял по колено в цветах и с удивлением взирал на зверя, очевидно, заметив его – как и мистер Берли со спутниками, только когда услышал вопль.

Первым опомнился мистер Кэтскилл и показал, из какого материала он скроен. Его действия были одновременно и осторожными и смелыми.

– Перестаньте хлопать зонтиком, леди Стелла, – сказал он. – Разрешите мне... я отвлеку его внимание на себя.

Он обошел лимузин и очутился прямо перед леопардом. Тут он на мгновение остановился, словно выставляя себя напоказ, – решительный человечек в сером сюртуке и в цилиндре с черной лентой. Осторожно, стараясь не раздражить зверя, он протянул к нему руку.

– Ки-иса! – сказал он.

Леопард, очень довольный исчезновением зонтика леди Стеллы, поглядел на него с живым любопытством. Мистер Кэтскилл сделал шаг вперед. Леопард вытянул морду и понюхал воздух.

– Только бы он позволил мне погладить себя, – говорил мистер Кэтскилл, приблизившись к леопарду на расстояние вытянутой руки.

Зверь недоверчиво обнюхал его пальцы. Затем с внезапностью, заставившей мистера Кэтскилла отскочить назад, он чихнул. Потом чихнул второй раз – еще сильнее, с упреком посмотрел на мистера Кэтскилла, легко перескочил полосу цветов и длинными прыжками понесся в сторону бело-золотой колоннады. Мистер Барнстейпл заметил, что пасущиеся коровы смотрят ему вслед без малейшего страха.

Мистер Кэтскилл, выпятив грудь, стоял посреди дороги.

– Ни одно животное, – объявил он, – не может выдержать пристального взгляда человеческих глаз. Ни одно. Пусть-ка материалисты попробуют это объяснить!.. Не присоединимся ли мы к мистеру Сесилию, леди Стелла? Он как будто обнаружил там нечто интересное. Владелец желтого автомобильчика, возможно, знает, что это за место. Ну, так как же?

Он помог леди Стелле выйти из автомобиля, и они направились к группе мистера Барнстейпла, уже приблизившейся к горящему зданию. Шофер, не решаясь, по-видимому, оставаться наедине с лимузином в этом мире невероятных происшествий, следовал за ними настолько близко, насколько позволяла почтительность.

Глава третья МИР КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ

1

Пожар, казалось, затихал. Над маленьким зданием теперь поднималось меньше дыма, чем в ту минуту, когда мистер Барнстейпл заметил его. Подойдя поближе, они обнаружили среди развалин множество скрученных кусков какого-то блестящего металла и осколки стекла. Больше всего это походило на остатки взорвавшейся научной аппаратуры. Затем они почти одновременно увидели в траве позади здания неподвижное тело. Это был труп молодого мужчины – совершенно обнаженного, если не считать нескольких браслетов, ожерелья и набедренной повязки. Из его рта и ноздрей сочилась кровь. Мистер Барнстейпл почти благоговейно опустился на колени рядом с погибшим и прижал руку к его груди – сердце не билось. Впервые в жизни видел он такое прекрасное тело и лицо.

– Умер, – сказал он шепотом.

– Посмотрите! – раздался пронзительный голос человека с моноклем. – Еще один!

Обломок стены помешал мистеру Барнстейплу увидеть, на что он указывает. Только поднявшись на ноги и перебравшись через груды мусора, он, наконец, увидел второй труп. Это была тоненькая девушка, тоже почти нагая. Повидимому, ее с огромной силой ударило о стену, и смерть наступила мгновенно. Лицо ее несколько не пострадало, хотя затылок был разможен; изумительно очерченные губы и зеленовато-серые глаза были чуть приоткрыты, словно она все еще размышляла над какой-то трудной, но интересной проблемой. Она казалась не мертвой, а просто отрешенной от окружающего. Одна рука все еще держала какой-то медный инструмент с ручкой из стекла, пальцы другой были бессильно разжаты.

Несколько секунд все молчали, как будто опасаясь прервать ее мысли.

Затем мистер Барнстейпл услышал позади себя голос человека, похожего на священника.

– Какая совершенная оболочка! – негромко сказал тот.

– Признаю, что я ошибся, – медленно произнес мистер Берли. – Я ошибся. Перед нами не земные люди. Это очевидно. Отсюда следует, что мы не на Земле. Не представляю, что случилось, и где мы находимся. Перед лицом достаточно веских фактов я всегда без колебаний отказывался от своего прежнего мнения. Мир, в котором мы сейчас находимся, – не наш мир. Это нечто... – Он помолчал и закончил: – Это нечто поистине чудесное.

– А виндзорскому обществу, – заметил мистер Кэтскилл как будто без малейшего сожаления, – придется завтракать без нас.

– Но в таком случае, – спросил человек, похожий на священника, – в каком мире мы находимся и как мы в него попали?

– На этот вопрос, – невозмутимо сказал мистер Берли, – мое скудное воображение не в состоянии подсказать никакого ответа. Мы находимся в каком-то мире, необыкновенно похожем на наш мир и необыкновенно на него непохожем. Между ним и нашим миром, несо-

мненно, существует какая-то связь, иначе мы здесь не находились бы. Но что это за связь, притаюсь, сказать не могу для меня это неразрешимая тайна. Возможно, мы попали в другое, неизвестное нам пространственное измерение. Но при одной мысли об этих измерениях моя бедная голова идет кругом Я... я в недоумении... в полном недоумении.

– Эйнштейн, – коротко и внушительно оборонил господин с моноклем.

– Вот именно! – отозвался мистер Берли. – Эйнштейн мог бы объяснить нам это. И милейший Холдейн мог бы взяться за объяснение и совсем сбил бы нас с толку своим туманным гегельянством. Но я не Холдейн и не Эйнштейн. Мы оказались в каком-то мире, который с практической точки зрения – в том числе и с точки зрения наших планов на воскресенье – можно назвать «Нигде». Или, если вы предпочитаете греческое слово, мы в утопии. И поскольку я не вижу, каким образом мы можем из нее выбраться, то нам, как разумным существам, следует как-то приспособиться к создавшемуся положению. И выждать удобной возможности. Мир этот, вне всякого сомнения, прелестен. И прелесть его даже превосходит его загадочность. Кроме того, тут живут люди – существа, наделенные разумом. Судя по тому, что нас сейчас окружает, я заключаю, что это мир, где широко ставятся химические опыты – ставятся, чего бы это ни стоило, – среди поистине идиллической природы. Химия и нагота! Будем ли мы считать эту пару, по-видимому, только что взорвавшую себя, греческими богами или голыми дикарями, – по моему мнению, это зависит от наших личных вкусов. Что до меня, то мне больше импонирует греческий бог... и богиня.

– Этому мешает только одно: как-то трудно представить себе двух мертвых бессмертных! – победоносно взвизгнул господин с моноклем.

Мистер Берли собирался уже ответить – и, судя по негодующему выражению его лица, это была бы краткая, но энергичная нотация, – но вместо этого он испустил удивленное восклицание и обернулся. В тот же момент все общество заметило, что около развалин стоят два нагих Аполлона и смотрят на землян с не меньшим изумлением, чем те на них.

Один из новоприбывших заговорил, и мистер Барнстейпл был необычайно поражен, обнаружив, что в его мозгу, будто эхо, возникают вполне понятные и знакомые слова.

– Красные боги! – воскликнул утопиец. – Что вы такое? И откуда вы взялись?

(Родной язык мистера Барнстейпла! Если бы он заговорил по-древнегречески, это было бы менее поразительно. Но как поверить, что они говорят на одном из живых земных языков!)

2

Мистер Сесиль Берли был ошеломлен гораздо меньше остальных.

– Теперь, – заметил он, – у нас есть основания полагать, что мы сможем узнать нечто определенное, поскольку перед нами разумные, наделенные даром речи существа.

Он кашлянул, взялся длинными, нервными пальцами за лацканы своего длиннополого пыльника и заговорил от лица всех своих спутников.

– Мы не в состоянии, господа, объяснить наше появление здесь, – сказал он. – Оно кажется нам столь же загадочным, как и вам. Мы внезапно заметили, что из своего мира перенеслись в ваш, – вот и все.

– Вы появились из другого мира?

– Вот именно. Из совершенно иного мира. Где у каждого из нас есть свое естественное и надлежащее место. Мы ехали по нашему миру в... э... неких экипажах, как вдруг очутились здесь. Непрошенные гости, готов признать, но уверяю вас, не по собственному желанию и не по своей вине.

– Вы не знаете, почему не удался опыт Ардена и Гринлейк и почему они погибли?

– Если Арден и Гринлейк – имена этих красивых молодых людей, то мы ничего не знаем о них, кроме того, что нашли их здесь в том положении, в каком вы их видите, когда направились сюда вон с той дороги, чтобы узнать, а вернее сказать, осведомиться...

Он кашлянул и оборвал свою речь на этой неопределенной ноте.

Утопиец (если, удобства ради, нам будет позволено называть его так), первым заговоривший с ними, теперь посмотрел на своего спутника, словно безмолвно о чем-то его спрашивая. Затем он снова повернулся к землянам. Он заговорил, и опять мистеру Барнстейплу показалось, что этот мелодичный голос журчит у него не в ушах, а в мозгу.

– Вам и вашим друзьям лучше не бродить среди этих развалин. Вам лучше вернуться на дорогу. Пойдемте со мной. Мой брат потушит огонь и сделает для нашего брата и сестры все, что необходимо. А потом это место исследуют те, кто разбирается в опытах, которые здесь проводились.

– У нас нет иного выхода, кроме как прибегнуть к вашему гостеприимству, – сказал мистер Берли. – Мы всецело в вашем распоряжении. Позвольте мне только повторить, что эта встреча произошла помимо нашей воли.

– Хотя, разумеется, мы сделали бы все для того, чтобы она осуществилась, подозревай мы о такой возможности, – добавил мистер Кэтскилл, ни к кому в частности не обращаясь, но поглядев на мистера Барнстейпла, словно ожидая от него подтверждения. – Ваш мир кажется нам чрезвычайно привлекательным.

– При первом знакомстве, – подтвердил господин с моноклем, – он кажется чрезвычайно привлекательным.

Когда они вслед за утопийцем и мистером Берли по густому ковру цветов направились к шоссе, леди Стелла оказалась рядом с мистером Барнстейплом. Она заговорила, и на фоне окружавшего их чуда ее слова ошеломили его своей безмятежной и непобедимой обычностью:

– Мне кажется, мы уже встречались... на званом завтраке или... мистер... мистер...?

Быть может, все окружающее ему только чудится? Он несколько секунд растерянно смотрел на нее, прежде чем сообразил подсказать:

– Барнстейпл.

– Мистер Барнстейпл?

Он настроился на ее лад.

– Я не имел этого удовольствия, леди Стелла. Хотя, разумеется, я знаю вас – знаю очень хорошо благодаря вашим фотографиям в иллюстрированных еженедельниках.

– Вы слышали, что сейчас говорил мистер Сесиль? О том, что мы в Утопии?

– Он сказал, что мы можем назвать этот мир Утопией?

– Как это похоже на мистера Сесили! Но все-таки это Утопия? Настоящая Утопия? – И, не дожидаясь ответа мистера Барнстейпла, леди Стелла продолжала: – Я всегда мечтала побывать в Утопии! Как великолепны эти два утопийца! Я убеждена, что они принадлежат к местной аристократии, несмотря на их... несколько домашний костюм. Или даже благодаря ему.

Мистеру Барнстейплу пришла в голову счастливая мысль.

– Я также узнал мистера Берли и мистера Руперта Кэтскилла, леди Стелла, но я был бы крайне вам обязан, если бы вы сказали мне, кто этот молодой человек с моноклем и его собеседник, похожий на священника. Они идут следом за нами.

Очаровательно-доверительным шепотом леди Стелла сообщила просимые сведения.

– Монокль, – прожурчала она, – это (я скажу по буквам) Ф-р-е-д-д-и М-а-ш. Вкус. Изысканный вкус. Он удивительно умеет отыскивать молодых поэтов и всякие другие новости литературы. Кроме того, он секретарь Руперта. Все говорят, что, будь у нас литературная Академия, он непременно стал бы ее членом. Он ужасно критичен и саркастичен. Мы ехали в Тэплоу-Корт, чтобы провести интеллектуальный вечер, словно в добрые старые времена. Разумеется, после того, как виндзорское общество нас покинуло бы... Должны были приехать

мистер Госс и Макс Бирбом... и другие. Но теперь постоянно что-то случается. Постоянно. Неожданности чуть-чуть даже в избытке... Его спутник в костюме духовного покроя, – она оглянулась, не слышит ли ее владелец костюма, – это отец Эмертон, ужасно красноречивый обличитель грехов общества и прочего в том же роде. Как ни странно, вне церковных стен он всегда застенчив и тих и пользуется ножами и вилками не слишком умело. Парадоксально, не правда ли?

– Ну, конечно же! – воскликнул мистер Барнстейпл. – Теперь я припоминаю. Его лицо показалось мне знакомым, но я никак не мог сообразить, где я его видел. Очень вам благодарен, леди Стелла.

3

Мистер Барнстейпл почерпнул какую-то спокойную уверенность в общении с этими знаменитыми и почитаемыми людьми, и особенно в разговоре с леди Стеллой. Она его просто ободрила: так много милого, прежнего мира принесла она с собой и такая в ней чувствовалась решимость при первом удобном случае подчинить его нормам и этот новый мир. Волны восторга и упоения красотой, грозившие поглотить мистера Барнстейпла, разбивались о созданный ею невидимый барьер. Знакомство с ней и с ее спутниками для человека его положения само по себе было достаточно значительным приключением, и это помогло ему в какой-то мере преодолеть пропасть, отделявшую его прежнее однообразное существование от этой чрезмерно бодрящей атмосферы Утопии. Эта встреча овеществляла, она (если позволительно воспользоваться этим словом в подобной связи) низводила окружающее их сияющее великолепие до степени полнейшей вероятности, поскольку и леди Стелла, и мистер Берли также видели Утопию и высказали по ее поводу свое мнение, и к тому же она созерцалась сквозь скептический монокль мистера Фредди Маша. И тем самым все это попадало в разряд явлений, о которых сообщают газеты. Если бы мистер Барнстейпл оказался в Утопии один, испытываемый им благоговейный трепет мог бы даже серьезно нарушить его умственное равновесие. А теперь учтивый загорелый бог, который в настоящую минуту беседовал с мистером Берли, стал благодаря посредничеству этого великого человека интеллектуально доступным.

И все же у мистера Барнстейпла чуть не вырвался восторженный взглас, когда его мысли вновь обратились от его высокопоставленных спутников к прекрасному миру, в который все они попали. Каковы на самом деле были люди этого мира, где буйные сорняки, казалось, уже не заглушали цветов и где леопарды, утратившие злобное кошачье коварство, дружелюбно поглядывали на всех проходящих мимо?

И как удивительно, что первые увиденные ими два обитателя этого мира покоренной природы были мертвы – насколько можно было судить, пали жертвами какого-то рискованного опыта! Но еще более удивительным было то, что вторые двое, назвавшиеся братьями погибших юноши и девушки, не проявили при виде этой трагедии никаких признаков горя или отчаяния! Мистер Барнстейпл вдруг осознал, что они вообще не выразили никакой печали – не были потрясены, не заплакали. Их поведение говорило скорее о недоумении и любопытстве, а не об ужасе и горе.

Утопиец, оставшийся возле развалин, отнес тело девушки туда, где лежал ее мертвый товарищ, и, когда мистер Барнстейпл обернулся, он внимательно рассматривал обломки неведомого аппарата.

Но теперь к месту происшествия уже спешили другие утопийцы. В этом мире существовали аэропланы – два небольших летательных аппарата, быстрые и бесшумные, словно ласточки, как раз опустились на ближнем лугу. По шоссе к ним приближался человек на маленькой машине, похожей на двухместный автомобиль всего с двумя колесами расположенными друг за другом, как у велосипеда; эта машина была несравненно легче и изящней земных

автомобилей и таинственным образом продолжала сохранять полное равновесие на своих двух колесах, даже когда остановилась. Взрывы смеха, раздавшиеся на шоссе, привлекли внимание мистера Барнстейпла к небольшой группе утопийцев, которые, по-видимому, находили невообразимо потешным мотор лимузина. Большинство из них было так же прекрасно сложено и столь же скудно одето, как и двое погибших экспериментаторов, хотя головы двоих-троих покрывали большие соломенные шляпы, а женщина, по-видимому, постарше, лет тридцати, носила белое одеяние с ярко-алой каймой. В это мгновение она заговорила с мистером Берли.

Хотя их разделяло еще шагов двадцать пять, ее слова отразились в мозгу мистера Барнстейпла с величайшей четкостью.

– Мы пока еще не знаем, какая связь существует между вашим появлением в нашем мире и недавним взрывом, не знаем даже, связаны ли они вообще. Мы собираемся исследовать оба эти вопроса. Мы полагаем, что разумнее всего будет проводить вас вместе со всем вашим имуществом в находящееся неподалеку отсюда место, удобное для совещания. Мы уже вызвали машины, которые доставят вас туда. Там вас можно будет накормить. Скажите, когда вы привыкли есть?

– Нам действительно не мешало бы перекусить в ближайшем будущем, – сказал мистер Берли, которому это предложение пришлось очень по душе. – По правде говоря, если бы мы не перенеслись так внезапно из нашего мира в ваш, то в настоящий момент мы бы уже завтракали – завтракали бы в самом избранном обществе.

«Чудо – и завтрак!» – подумал мистер Барнстейпл. Человек создан так, что должен есть, какие бы чудеса его ни окружали. И сам мистер Барнстейпл вдруг почувствовал, что сильно проголодался и что воздух, которым он дышит, необыкновенно способствует пробуждению аппетита.

Утопийке, казалось, пришла в голову новая мысль.

– Вы едите несколько раз в день? Что вы едите?

– Ах, неужели они вегетарианцы? Не может быть! – возмущенно воскликнул мистер Маш, роняя из глаза монокль.

Они все очень проголодались, что нетрудно было заметить по их лицам.

– Мы привыкли есть по несколько раз в день, – сказал мистер Берли. – Пожалуй, мне следует сообщить вам краткий перечень потребляемых нами пищевых продуктов. Возможно, в этом отношении между нами существуют некоторые различия. Как правило, мы начинаем с чашки чая и тоненького ломтика хлеба с маслом, который нам подают в постель. Затем завтрак...

И он дал мастерское резюме гастрономического содержания своих суток, точно и заманчиво описывая характерные черты первого английского завтрака, яйца к которому следует варить четыре с половиной минуты, не больше и не меньше, второго завтрака, к которому подается легкое вино любых марок, чая – еды, имеющей более светскую, нежели питательную функцию, обеда – с приличествующими подробностями, и наконец, ужина – еды необязательной. Это была краткая и энергичная речь, которая, несомненно, пришлась бы по вкусу палате общин: нисколько не тяжеловесная, даже с блесками остроумия и все же достаточно серьезная. Утопийка смотрела на мистера Берли с возрастающим интересом.

– И вы все едите вот таким образом? – спросила она.

Мистер Берли обвел взглядом своих спутников.

– Я не могу поручиться за мистера... мистера...?

– Барнстейпла... Да, и я ем примерно так же.

Утопийка почему-то улыбнулась ему. У нее были очень красивые карие глаза, но, хотя ему нравилась ее улыбка, на этот раз он предпочел бы, чтобы она не улыбалась.

– А как вы спите? – спросила она.

– От шести до десяти часов, в зависимости от обстоятельств, – сообщил мистер Берли.

– А как вы любите?

Этот вопрос поверг наших землян в недоумение и до некоторой степени шокировал их. Что, собственно говоря, она имеет в виду? Несколько секунд все растерянно молчали. В мозгу мистера Барнстейпла пронесся вихрь странных предположений.

Но тут на выручку пришли тонкий ум мистера Берли и его умение быстро и изящно уклоняться от ответа, обязательное для всякого крупного политика современности.

– Не постоянно, уверяю вас, – сказал он. – Отнюдь не постоянно.

Женщина в одеянии с алой каймой несколько мгновений обдумывала его слова, затем чуть-чуть улыбнулась.

– Нам следует поскорее отправиться туда, где мы сможем подробно поговорить обо всем этом, – сказала она. – Вы, несомненно, явились из какого-то странного другого мира. Наши ученые должны встретиться с вами и обменяться сведениями.

4

Еще в половине одиннадцатого мистер Барнстейпл проезжал на своем автомобиле по шоссе через Слау, а теперь, в половине второго, он летел над страной чудес, почти забыв про свой привычный мир.

– Изумительно! – твердил он, – Изумительно! Я знал, что мое путешествие будет интересным. Но это, это...

Он был удивительно счастлив – тем ясным, безоблачным счастьем, которое бывает только во сне. Впервые в жизни познал он восторг открывателя новых земель – он и не надеялся, что ему когда-либо доведется испытать это чувство. Всего три недели назад он написал для «Либерала» статью, в которой оплакивал «конец века открытий», – статью настолько беспросветно и беспричинно унылую, что она чрезвычайно понравилась мистеру Пиви. Теперь он вспомнил эту статью, и ему стало немножко стыдно.

Компания землян была распределена по четырем маленьким аэропланам: когда мистер Барнстейпл и его спутник отец Эмертон взмыли в воздух, он поглядел вниз и увидел, что оба автомобиля вместе с багажом были без всякого труда погружены в два легких грузовика. Каждый грузовик выбросил пару сверкающих лап и подхватил свой автомобиль, словно нянька младенца.

По современным земным представлениям о безопасности авиатор вел их аэроплан слишком близко к земле. Иногда они пролетали между деревьями, а не над ними – благодаря этому мистер Барнстейпл, хотя сначала и несколько испуганный, мог подробно рассмотреть окружающую местность. Сперва они летели над цветущими лугами, где паслись бледно-золотистые коровы, – время от времени зелень травы перемежалась яркими пятнами неизвестной мистеру Барнстейплу растительности. Там и сям змеились узкие дорожки, предназначенные то ли для пешеходов, то ли для велосипедистов. Порой внизу мелькало шоссе, окаймленное цветочными газонами и фруктовыми деревьями.

Домов было очень мало, и он не увидел ни одного города или деревни. Отдельные же дома были самых разных размеров – от небольших отдельных зданий, которые он счел изящными летними виллами или небольшими храмами, до сложного лабиринта всяческих кровель и башенок, словно у старинных замков, – это могла быть большая сельскохозяйственная или молочная усадьба. Кое-где в полях работали люди, иногда кто-нибудь шел или ехал по дороге, но, в общем, создавалось впечатление, что этот край очень мало населен.

Он уже понял, что их аэроплан собирается пересечь горный хребет, так внезапно заслонивший далекий Виндзорский замок.

По мере приближения к горам зелень лугов сменялась широкими золотыми полосами хлебных злаков, а затем и других самых разнообразных культур. На солнечных склонах он

заметил нечто похожее на виноградники; домов и работающих людей стало заметно больше. Маленькая эскадрилья летела вдоль широкой долины по направлению к перевалу, так что мистер Барнстейпл успел хорошо рассмотреть горный пейзаж. Внизу мелькали рощи каштанов, затем появились сосны. Бурные потоки были перегорожены гигантскими турбинами, рядами тянулись низкие здания с множеством окон – очевидно, заводы или мастерские. К перевалу поднималась искусно проложенная дорога, виадуки которой отличались удивительной смелостью, легкостью и красотой. Мистер Барнстейпл решил, что в горах людей значительно больше, чем на равнинах, хотя и гораздо меньше, чем в схожих районах у нас на Земле.

Около десяти минут аэроплан летел над пустыней занесенного снегом ледника, по краю которого высились скалистые пики, а затем снизился в высокогорной долине, где, очевидно, находилось Место Совещаний. Эта долина представляла собой своеобразную складку в склоне, пересеченную каменными уступами, так искусно сложенными, что они казались частью геологической структуры самой горы. Долина выходила на широкое искусственное озеро, отделенное от ее нижнего конца могучей плотиной. На плотине через правильные интервалы высились каменные столбы, смутно походившие на сидящие фигуры. За озером мистер Барнстейпл успел заметить широкую равнину, напомнившую ему долину реки По, но тут аэроплан пошел на посадку и верхний край плотины заслонил даль.

На уступах, главным образом на нижних, располагались группы легких, изящных зданий; дорожки, лестницы, бассейны с прозрачной водой делали всю местность похожей на сад.

Аэропланы мягко приземлились на широкой лужайке. Совсем рядом над водой озера виднелось изящное шале; его терраса служила пристанью, у которой стояла целая флотилия пестро раскрашенных лодок.

То, что деревень почти не видно, первым заметил Эмертон. И теперь он же сказал, что тут нигде нет церкви, и что во время полета они не видели ни единой колокольни. Однако мистер Барнстейпл предположил, что некоторые из небольших зданий могли быть храмами или святилищами.

– Религия здесь, возможно, имеет другие формы, – сказал он.

– А как мало тут младенцев и маленьких детей! – заметил отец Эмертон, – И я не видел ни одной матери с ребенком.

– По ту сторону горы мы пролетали над местом, похожим на площадку для игр при большой школе. Там было много детей и несколько взрослых, одетых в белое.

– Я заметил их. Но я говорил о младенцах. Сравните то, что мы видим тут, с тем, что можно увидеть в Италии. Такие красивые и привлекательные молодые женщины, – прибавил преподобный отец. – Чрезвычайно привлекательные – и ни признака материнства!

Их авиатор, загорелый блондин с синими глазами, помог им спуститься на землю, и они остановились, поджидая остальных. Мистер Барнстейпл с удивлением отметил про себя, что он необыкновенно быстро свылся с красками и гармоничностью этого нового мира: теперь странными ему казались уже фигуры и одежда его соотечественников. Мистер Рупер Кэтскилл в своем прославленном сером цилиндре, мистер Маш с нелепым моноклем, характерная тощая стройность мистера Берли и квадратный, облеченный в кожаную куртку торс шофера казались ему гораздо более необычными, чем изящные утопийцы вокруг.

Интерес, с которым авиатор посматривал на них, и его усмешка еще усилили это ощущение. И вдруг его охватила мучительная неуверенность.

– Ведь это реальная реальность? – спросил он отца Эмертона.

– Реальная реальность? Но чем же еще это может быть?

– Нам ведь это не снится?

– Мог ли совпасть ваш сон с моим?

– Да, конечно. Но ведь кое-что в этом невозможно. Просто невозможно.

– Что, например?

– Ну, скажем, то, что эти люди говорят с нами на нашем языке, как будто он их родной.
– Я как-то не подумал об этом. Действительно, странно. Друг с другом они на нем не говорят.

Мистер Барнстейпл уставился на отца Эмертона остановившимися от изумления глазами – его вдруг поразил еще более невероятный факт.

– Они вообще друг с другом не разговаривают, – пробормотал он. – А мы этого до сих пор не замечали!

Глава четвертая

НА РОМАН ПАДАЕТ ТЕНЬ ЭЙНШТЕЙНА, НО ТУТ ЖЕ ИСЧЕЗАЕТ

1

Если не считать того непонятного факта, что все утопийцы, по-видимому, свободно владели его родным языком, мистер Барнстейпл не мог найти ни одной логической неувязки в своем непрерывно обогащающемся представлении об этом новом мире – несомненно, ни один сон не мог развиваться с такой последовательностью. Все было настолько оправданно, настолько упорядочено, что мир этот уже переставал производить на него впечатление чего-то необычного; ему начинало казаться, что они просто приехали в чужую, но высокоцивилизованную страну.

Кареглазая женщина в одеянии с алой каймой отвела землян в предназначенные для них необыкновенно удобные жилища вблизи от Места Совещаний. Шестеро юношей и девушек заботливо посвятили их во все тонкости домашнего утопийского обихода. Отдельные домики, в которых их поселили, все имели уютные спальни: кровати с тончайшими простынями и очень легкими пушистыми одеялами стояли в открытых лоджиях – чересчур открытых, заметила леди Стелла, но ведь, как она выразилась, «тут чувствуешь себя так спокойно». Прибыл багаж, и чемоданы разнесли по комнатам, словно в каком-нибудь гостеприимном земном поместье.

Однако прежде чем леди Стелла смогла открыть свой несессер и освежить цвет лица, ей пришлось выставить из своей спальни двух услужливых юношей.

Через несколько минут в убежище леди Стеллы раздались взрывы смеха и шум шутиливой, но отчаянной борьбы, что вызвало некоторое замешательство. Оставшаяся там девушка проявила чисто женское любопытство к ее одежде и туалетным принадлежностям и, в конце концов, обратила внимание на необыкновенно очаровательную и прозрачную ночную рубашку. По какой-то непонятной причине эта тщательно спрятанная изящная вещица показалась юной утопийке чрезвычайно забавной, и леди Стелле лишь с трудом удалось воспрепятствовать ее намерению облачиться в нее и выбежать наружу, дабы представить ее на всеобщее обозрение.

– Ну, так сами ее наденьте! – потребовала девушка.

– Как вы не понимаете! – воскликнула леди Стелла, – Она же... она же почти священна! Ее никому нельзя видеть, никому!

– Но почему? – с глубочайшим недоумением спросила утопийка.

Леди Стелла не нашлась, что ответить. Поданная затем легкая закуска была, по земным представлениям, во всех отношениях превосходной.

Тревога мистера Фредди Маша оказалась напрасной: их угостили холодными цыплятами, ветчиной и отличным мясным паштетом. Кроме того, хлеб, правда, из муки довольно грубого помола, но очень вкусный, свежее масло, изумительный салат, сыр, напоминающий грюйерский, и легкое белое вино, которое заставило мистера Берли воскликнуть, что «Мозель не производил ничего лучше!».

– Значит, наша пища похожа на вашу? – спросила женщина в одеянии с алой каймой.

– Чудесно! – отозвался мистер Маш с набитым ртом.

– За последние три тысячи лет пища почти не менялась. Люди научились готовить наиболее лакомые блюда еще задолго до Последнего Века Хаоса.

«Это слишком реально, чтобы быть реальностью!» – повторял про себя мистер Барнстейпл. – Слишком реально».

Он взглянул на своих спутников: они оживленно и с интересом посматривали по сторонам и ели с большим удовольствием.

Если бы только не одна эта нелепость – если бы только он не понимал утопийцев с такой легкостью, что ясность знакомых слов отдавалась в его мозгу ударами молота, – мистер Барнстейпл не усомнился бы в реальности происходящего.

За каменным, не покрытым скатертью столом никто не прислуживал: два авиатора и кареглазая женщина ели вместе с гостями, а те сами передавали друг другу требуемые блюда. Шофер мистера Берли хотел было скромно сесть в сторонке, но знаменитый государственный муж снисходительно подозвал его:

– Садитесь тут, Пенк. Рядом с мистером Машем.

На большую веранду с колоннами, где была подана еда, сходились все больше утопийцев, дружески, но внимательно рассматривавших землян. Они стояли или сидели, как кто хотел, – не было ни официальных представлений, ни других церемоний.

– Все это чрезвычайно приятно, – сказал мистер Перли. – Чрезвычайно. Должен признать, что эти персики куда лучше четсуортских. Дорогой Руперт, в коричневом кувшинчике перед вами, по-моему, сливки?... Я так и думал. Если вам, правда, достаточно, Руперт... Благодарю вас.

2

Некоторые из утопийцев сказали землянам свои имена. Все их голоса казались мистеру Барнстейплу одинаковыми, а слова обладали четкостью печатного текста. Кареглазую женщину звали Ликнис. Бородатый утопиец, которому мистер Барнстейпл дал лет сорок, был не то Эрфредом, не то Адамом, не то Эдомом – его имя, несмотря на всю чеканность произношения, оказалось, очень трудно разобрать. Словно крупный шрифт вдруг расплылся. Эрфред сообщил, что он этиолог и историк и что он хотел бы как можно больше узнать о мире землян. Мистер Барнстейпл подумал, что непринужденностью манер он напоминает какого-нибудь земного банкира или влиятельного владельца многих газет: в нем не было и следа робости, которая в нашем будничном мире обычно свойственна большинству ученых. И другой из их хозяев, Серпентин, к большому удивлению мистера Барнстейпла – ибо он держался почти властно, – также оказался ученым. Мистер Барнстейпл не разобрал, чем он занимается. Он сказал что-то вроде «атомной механики», но это почему-то прозвучало почти как «молекулярная химия». И тут же мистер Барнстейпл услышал, что мистер Берли спрашивает у мистера Маша:

– Он ведь сказал «физико-химия»?

– По-моему, он просто назвал себя материалистом, – отозвался мистер Маш.

– А, по-моему, он объяснил, что занимается взвешиванием, – заметила леди Стелла.

– Их манера говорить обладает заметными странностями, – сказал мистер Берли. – То они произносят слова до неприятности громко, а то словно проглатывают звуки.

После еды все общество отправилось к другому небольшому зданию, по-видимому, предназначенному для занятий и бесед. Его завершало нечто вроде апсиды, окаймленной белыми плитами, которые, очевидно, служили досками для лекторов – на мраморном выступе под ними лежали черные и цветные карандаши и тряпки. Человек, читающий лекцию, мог по мере надобности переходить от одной плиты к другой. Ликнис, Эрфред, Серпентин и земляне располо-

жились на полукруглой скамье, чуть ниже лекторской площадки. Напротив них находились сиденья, на которых могло разместиться до ста человек. Все места были заняты, и позади у кустов, напоминающих рододендроны, живописными группами расположилось еще несколько десятков утопийцев. В просветах между кустами виднелись зеленые лужайки, спускающиеся к сверкающей воде озера.

Утопийцы собирались обсудить это внезапное вторжение в свой мир. Что могло быть разумнее такого обсуждения? Что могло быть более фантастичным и невероятным?

– Странно, что не видно ласточек, – неожиданно прошептал на ухо мистеру Барнстейплу мистер Маш. – Не понимаю, почему тут нет ласточек.

Мистер Барнстейпл взглянул на пустынное небо.

– Вероятно, тут нет мух и комаров... – предположил он.

Странно, как он сам прежде не заметил отсутствия ласточек.

– Шшш! – сказала леди Стелла. – Он начинает.

3

И это невероятное совещание началось. Первым выступил тот, кого звали Серпентином: он встал, и, казалось, обратился к присутствующим с речью. Его губы шевелились, он жестикулировал, выражение его лица менялось. И все же мистер Барнстейпл почему-то смутно подозревал, что Серпентин на самом деле не произносит ни слова. Во всем этом было что-то необъяснимое. Иногда сказанное отдавалось в его мозгу звонким эхом, иногда оно было нечетким и неуловимым, как очертания предмета под волнующейся водой, а иногда, хотя Серпентин по-прежнему жестикулировал красивыми руками и смотрел на своих слушателей, вдруг наступало полное безмолвие, словно мистер Барнстейпл на мгновение делался глухим... И все же это была связная речь. Она была логична и заметила мистера Барнстейпла.

Серпентин говорил так, словно прилагал большие усилия, чтобы возможно проще изложить трудную проблему. Он словно сообщал аксиомы, делая после каждой паузы.

– Давно известно, – начал он, – что возможное число пространственных измерений, как и число всего, что поддается счету, совершенно безгранично.

Это положение мистер Барнстейпл, во всяком случае, понял, хотя мистеру Машу оно оказалось не по зубам.

– О господи! – вздохнул он. – Измерения! – И, уронив монокль, погрузился в унылую рассеянность.

– Практически говоря, – продолжал Серпентин, – каждая данная вселенная, каждая данная система явлений, в которой мы находимся и часть которой мы составляем, может рассматриваться как существующая в трехмерном пространстве и подвергающаяся изменениям, таковые изменения являются в действительности протяженностью в четвертом измерении – времени. Такая система явлений по необходимости является гравитационной системой.

– Э? – внезапно перебил его мистер Берли. – Извините, но я не вижу, из чего это следует. Значит, он, во всяком случае, тоже пока еще понимает Серпентина.

– Всякая вселенная, существующая во времени, по необходимости должна находиться в состоянии гравитации, – повторил Серпентин, словно это само собой разумелось.

– Хоть убейте, я этого не вижу, – после некоторого размышления заявил мистер Берли.

Серпентин секунду задумчиво смотрел на него.

– Однако это так, – сказал он и продолжал свою речь.

– Наше сознание, – говорил он, – развивалось на основе этого практического восприятия явлений, принимало его за истинное; и в результате только путем напряженного и последовательного анализа мы сумели постигнуть, что та вселенная, в которой мы живем, не только имеет протяженность, но и, так сказать, несколько искривлена и вложена в другие простран-

ственные измерения, о чем прежде и не подозревали. Она выходит за пределы своих трех главных пространственных измерений в эти другие измерения точно так же, как лист тонкой бумаги, практически имеющий лишь два измерения, обретает третье измерение не только за счет своей толщины, но и за счет вмятин и изгибов.

– Неужели я гложу? – театральным шепотом спросила леди Стелла. – Я не в состоянии разобрать ни единого слова.

– И я тоже, – заметил отец Эмертон.

Мистер Берли сделал успокаивающий жест в сторону этих несчастливцев, не отводя взгляда от лица Серпентина. Мистер Барнстейпл нахмурил брови и сжал руками колени в отчаянном усилии сосредоточиться.

Он должен услышать! Да, он слышит!

Далее Серпентин объяснил, что, как в трехмерном пространстве бок о бок может лежать любое число практически двухмерных миров, подобно листам бумаги, точно так же многомерное пространство, которое плохо приспособленный к таким представлениям человеческий разум еще только начинает с большим трудом постигать, может включать в себя любое число практически трехмерных миров, лежащих, так сказать, бок о бок и приблизительно параллельно развивающихся во времени. Теоретические работы Лоунстона и Цефала уже давно создали основу для твердой уверенности в реальном существовании бесчисленного множества таких пространственно-временных миров, параллельных друг другу и подобных друг другу, хотя и не вполне, как подобны страницы одной и той же книги. Все они должны обладать протяженностью во времени, все они должны представлять собой гравитирующие системы...

(Мистер Берли покачал головой в знак того, что он по-прежнему не видит, из чего это следует.)

...причем наиболее близко соседствующие должны обладать наиболее близким сходством. А насколько близким, они теперь получили возможность узнать совершенно точно. Ибо смелые попытки двух величайших гениев, Ардена и Гринлейк, использовать (неразборчиво) атомный удар, чтобы повернуть участок утопийской материальной вселенной в другое измерение, в измерение F, в которое, как давно уже было известно, он внедряется примерно на длину человеческой руки, – повернуть, как поворачиваются на петлях створки ворот, – эти попытки увенчались полным успехом. Створки захлопнулись, принеся с собой волну душного воздуха, пылевую бурю и – к величайшему удивлению утопийцев! – три экипажа с гостями из неведомого мира.

– Три? – с сомнением прошептал мистер Барнстейпл. – Он сказал, три?

(Серпентин не обратил на него внимания.)

– Наш брат и сестра были убиты непредвиденным высвобождением энергии, но их эксперимент раз и навсегда открыл путь из нынешних ограниченных пространственных пределов Утопии в бесчисленные вселенные, о существовании которых мы прежде и не подозревали. Совсем рядом с нами, как много веков тому назад угадал Лоунстон, ближе к нам, как он выразился, чем кровь наших сердец...

(– «Ближе к нам, чем дыхание, дороже рук и ног», – несколько вольно процитировал отец Эмертон, внезапно очнувшись. – Но о чем он говорит? Я почти ничего не могу расслышать.)

...мы открыли новую планету, примерно такого же размера, как наша, если судить по сложению ее обитателей, вращающуюся, как мы можем с уверенностью предположить, вокруг такого же Солнца, как то, которое озаряет наши небеса, – Планету, породившую жизнь и медленно покоряющуюся разуму, который, по-видимому, эволюционировал в условиях, практически параллельных условиям нашей собственной эволюции. Эта наша сестра-вселенная, насколько мы можем судить по внешним данным, несколько отстала во времени от нашей. Одежда наших гостей и их внешность напоминают одежду и внешность наших предков в Последний Век Хаоса... У нас еще нет оснований утверждать, что их история развивалась

строго параллельно нашей. В мире не найдется двух абсолютно подобных материальных частиц, двух абсолютно подобных волн. Во всех измерениях бытия, во всех божьих вселенных не было и не может быть точного повторения. Это, как мы неопровержимо установили, – единственная невозможная вещь. Тем не менее, этот мир, который вы именуете Землей, явно близок нашей вселенной и очень ее напоминает... Мы очень хотим многое узнать от вас, землян, хотим проверить нашу собственную, еще далеко не познанную историю через вашу, хотим ознакомить вас с нашими знаниями, установить, какое общение и помощь возможны и желательны между обитателями вашей планеты и нашей. Мы тут постигли лишь самые начатки знания, мы пока сумели узнать лишь всю необъятность того, что нам еще только предстоит открыть и научиться делать. Есть миллионы сходных проблем, в разрешении которых два наших мира, наверное, могут оказать друг другу взаимную помощь, поделившись своими знаниями... Возможно, на вашей планете существуют линии наследственности, которые не стали развиваться или же захирели на нашей. Возможно, в одном мире есть элементы или минералы, в которых нуждается другой... Структура ваших атомов (?)... наши миры могут скреститься (?)... для взаимного жизненного толчка...

Речь его стала беззвучной именно тогда, когда мистер Барнстейпл был особенно глубоко взволнован и с нетерпением ждал его дальнейших слов. Однако глухой не усомнился бы, что Серпентин продолжает говорить. Глаза мистера Барнстейпла встретились с глазами мистера Руперта Кэтскилла – в них было то же тревожное недоумение. Отец Эмертон сидел, закрыв лицо руками. Леди Стелла и мистер Маш о чем-то шепотом переговаривались – они уже давно перестали притворяться, что слушают.

– Такова, – сказал Серпентин, вдруг снова становясь слышным, – наша первая примерная оценка вашего появления в нашем мире и возможностей нашего взаимного общения. Я изложил вам наши предположения, как мог проще и яснее. Теперь я хотел бы предложить, чтобы кто-нибудь из вас сказал нам просто и ясно, что вы считаете истиной о вашем мире и об его отношении к нашему.

Глава пятая

УПРАВЛЕНИЕ УТОПИИ И ЕЕ ИСТОРИЯ

1

Наступило молчание. Земляне переглядывались и один за другим поворачивались к мистеру Сесилию Берли. Государственный муж сделал вид, будто он не понимает, чего от него ждут.

- Руперт, – сказал он. – Может быть, вы?
- Я выскажу свое мнение потом, – ответил мистер Кэтскилл.
- Отец Эмертон, вы привыкли рассуждать об иных мирах.
- Однако не в вашем присутствии, мистер Сесиль. Нет, не в вашем.
- Но что я им скажу?
- То, что вы обо всем этом думаете, – посоветовал мистер Барнстейпл.
- Вот именно, – подхватил мистер Кэтскилл. – Скажите им, что вы обо всем этом думаете.

Других подходящих кандидатов, очевидно, не было, и мистер Берли, медленно поднимаясь, задумчиво направился к середине полукружья. Взявшись за лацканы своего сюртука, он несколько мгновений стоял, опустив голову и словно собираясь с мыслями.

– Мистер Серпентин, – начал он наконец, повернув к слушателям дышащее искренностью лицо и устремив взгляд сквозь пенсне на небо над дальним берегом озера. – Мистер Серпентин, уважаемые дамы и господа...

Он собирался произнести речь! Словно он находился на званом чаепитии, устроенном «Лигой подснежника», или в Женеве. Это было нелепо, но что еще оставалось делать?

– Должен признаться, сэр, что, хотя это отнюдь не первое мое появление на ораторской трибуне, сейчас я несколько растерян. Ваше замечательное выступление, сэр, простое, деловитое, ясное, сжатое и временами истинно красноречивое, подало мне пример, которому я от души хотел бы последовать – но это, к сожалению, не в моих скромных силах. Вы просите меня со всей возможной ясностью изложить вам факты, известные нам об этом родственном вам мире, откуда мы столь неожиданно попали к вам. Насколько я вообще способен понимать или обсуждать столь сложные материи, я полагаю, что не могу не только расширить ваше замечательное изложение математического аспекта проблемы, но хотя бы что-либо к нему добавить. То, что вы говорили, воплощает самые последние, самые смелые идеи земной науки и намного их превосходит. По некоторым частностям, например, по взаимоотношению времени и гравитации, признаюсь, я не могу согласиться с вами, но не потому, что у меня есть какие-либо позитивные возражения, а просто потому, что мне трудно понять ваши предпосылки. Относительно общего взгляда на сущность вопроса между нами, видимо, нет никаких противоречий. Мы принимаем ваше основное положение безоговорочно; а именно, мы признаем, что обитаем в параллельной вселенной на планете, являющейся подлинной сестрой вашей планеты и удивительно похожей на вашу, даже принимая во внимание все те возможные отличия, которые мы тут наблюдали. Мы находим разумным и склонны принять ваше предположение, что наша система, по всей вероятности, несколько менее приблизилась к зрелости, несколько менее смягчена рукой времени, нежели ваша, и отстает от нее на столетия, если не на тысячелетия. Ввиду всего этого наше отношение к вам, сэр, неизбежно должно быть окрашено некоторым смирением. Как младшим, нам более к лицу учиться, нежели поучать. Это нам надлежит спрашивать: «Что вы сделали? Чего достигли?» – вместо того, чтобы с простодушной гордостью продемонстрировать вам все, чего мы еще не знаем, все, чего мы еще не сделали...

«Нет! – сказал себе мистер Барнстейпл. – Это сон... Будь это что-нибудь другое...»

Он протер глаза, а потом вновь открыл их, но он по-прежнему сидел рядом с мистером Машем, окруженный нагими олимпийцами. А мистер Берли, этот утонченнейший из скептиков, который никогда ничему не верил, который никогда ничему не удивлялся, стоял на носках, слегка наклонившись вперед, и говорил, говорил с уверенностью человека, произнесшего на своем веку десять тысяч речей. Он так же не сомневался в себе и в реакции своих слушателей, словно выступал в лондонской ратуше. И они действительно понимали его! А это была уже полная нелепость!

Оставалось только одно: смириться с этой беспредельной бессмыслицей, сидеть и слушать. Иногда мысли мистера Барнстейпла уводили его далеко от речи мистера Берли. Потом, очнувшись, он делал отчаянные попытки следить за его словами. С обычной медлительной парламентской манерой, то протирая пенсне, то берясь за лацканы сюртука, мистер Берли давал утопийцам общее представление о мире людей: стараясь говорить просто, ясно и логично, он рассказывал им о государствах и империях, о войнах и о Мировой войне, об организованной экономике и о хаосе, о революциях и о большевизме, о начинающемся в России страшном голоде, о коррупции государственных деятелей и чиновников, среди которых так редко можно найти честных людей, и о бесполезности газет – обо всех мрачных и смутных сторонах человеческой жизни. Серпентин употребил выражение «Последний Век Хаоса», и мистер Берли ухватился за него и всячески его обыгрывал...

Это была великолепная ораторская импровизация. Длилась она примерно час, и утопийцы слушали ее с напряженным вниманием и интересом, иногда кивали в знак согласия и понимания.

«Очень похоже, – отдавалось в мозгу мистера Барнстейпла. – Так же было и у нас – в Век Хаоса».

Наконец мистер Берли с рассчитанной неторопливостью искусственного парламентария завершил свою речь несколькими любезными фразами.

Он поклонился. Он кончил. Мистер Маш заставил всех вздрогнуть, энергично захлопав в ладоши, но никто к нему не присоединился.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что не может больше выносить смятения своих мыслей. Он вскочил.

2

Он стоял, растерян и умоляюще жестикулируя, как это обычно бывает с неопытными ораторами.

– Уважаемые дамы и господа! – сказал он. – Утопийцы, мистер Берли! Прошу у вас минуту внимания. Одна мелочь. Ею нужно заняться немедленно.

На несколько секунд он утратил дар речи. Внимательный взгляд Эрфреда ободрил его.

– Я кое-чего не понимаю. Это невероятно... Я хочу сказать, непостижимо. Маленькое несоответствие, но оно превращает все в бессмысленную фантасмагорию.

Интерес в глазах Эрфреда ободрял и поддерживал его. Мистер Барнстейпл отказался от попытки обращаться ко всему обществу и заговорил непосредственно с Эрфредом:

– Вы в Утопии живете на сотню тысяч лет впереди нас. Так каким же образом вам известен наш язык со всеми его современными особенностями? Каким образом вы говорите на нем с такой же легкостью, как и мы сами? Я спрашиваю вас, как это так? Это невыносимо. Это нелогично. Это превращает вас в сновидение. Но ведь вы все-таки не сон? От этого я чувствую себя... сумасшедшим.

Эрфред ласково улыбнулся ему.

– Мы не говорим на вашем языке, – сказал он.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что земля разверзается под его ногами.

– Но ведь я слышу это своими ушами, – запротестовал он.

– И все-таки это не так, – сказал Эрфред. Улыбнувшись еще шире, он добавил: – Мы в обычных обстоятельствах вообще не говорим.

Мистер Барнстейпл, чувствуя, что голова у него идет кругом, сохранил позу почтительного внимания.

– Много веков назад, – продолжал Эрфред, – мы, разумеется, пользовались для общения различными языками. Мы издавали звуки и слышали их. Люди сначала думали, а потом подбирали необходимые слова и произносили их в соответствующем порядке. Слышащий слышал, воспринимал и вновь переводил звуки в мысли. Затем – каким образом, мы до сих пор полностью не понимаем, – люди начали воспринимать идею прежде, чем она облекалась в слова и выражалась звуками. Они начали слышать мозгом, как только говоривший организовывал свои мысли, – прежде, чем он подбирал для них словесные символы даже в уме. Они знали, что он хочет сказать, прежде чем он успевал это сказать. Этот прямой обмен мыслями вскоре широко распространился; оказалось, что ценой небольшого усилия почти всякий человек способен до некоторой степени проникать в мозг другого, и началось систематическое развитие этого нового способа общения. И в нашем мире он стал теперь наиболее обычным. Мы непосредственно мыслим друг другу. Мы решаем сообщить мысль, и она тут же сообщается – при условии, что расстояние не слишком велико. Мы в нашем мире пользуемся теперь звуками только в поэзии, для удовольствия, в минуты эмоционального возбуждения или чтобы крикнуть на далекое расстояние, или же в общении с животными, но не для передачи идей родственным умам. Когда я думаю нам, эта мысль, в той же мере, в какой она находит соответствующие понятия и подходящие слова в вашем мозгу, отражается там. Моя мысль облекается в слова и наш мозг, а вам кажется, что вы эти слова слышите, – и естественно, что мыслите

вы на своем языке с помощью наиболее привычной вам фразеологии, Весьма возможно, что эту мою речь, обращенную к нам, ваши товарищи слышат с некоторыми различиями за счет их индивидуальных речевых привычек и словаря.

На протяжении этого объяснения мистер Барнстейпл не раз энергично кивал в знак понимания, и порой казалось, что он вот-вот перебьет Эрфреда. Теперь он воскликнул:

– Так вот почему иногда – как, например, во время замечательной речи мистера Серпентина, – когда вы воспаряете к идеям, которые недоступны для нашего мозга, мы просто ничего не слышим!

– А разве такие паузы были? – спросил Эрфред.

– Боюсь, что неоднократно... и у всех нас, – ответил мистер Берли.

– Словно вдруг наступает полоса глухоты, – пояснила леди Стелла. – Большая полоса.

Отец Эмертон кивнул в знак согласия.

– И поэтому-то мы не могли разобрать, зовут ли вас Эрфред или Адам, а имя Арден казалось мне похожим на Лес.

– Надеюсь, ваше мучительное недоумение теперь исчезло? – сказал Эрфред.

– О, совершенно! – ответил мистер Барнстейпл. – Совершенно! И, принимая во внимание все обстоятельства, мы можем только радоваться, что у вас существует такой способ общения. Иначе нам пришлось бы потратить несколько томительных недель на изучение основных принципов вашей грамматики, логики, семантики и всего прочего, – по большей части вещей очень скучных, – прежде чем нам удалось бы достигнуть нашей нынешней степени взаимопонимания.

– Очень удачно схвачено, – сказал мистер Берли, поворачиваясь к мистеру Барнстейплу самым дружеским образом. – Очень, очень удачно. Я сам никогда бы этого не заметил, если бы вы не обратили на это мое внимание. Как странно! Я совсем не заметил этой... этой разницы. Впрочем, признаюсь, я был совершенно поглощен своими мыслями. Мне казалось, что они говорят на нашем языке. И я счел это само собой разумеющимся.

3

Теперь это удивительное происшествие обрело для мистера Барнстейпла такую логическую законченность, что удивляться оставалось лишь полнейшей его реальности. Он сидел в открытой апсиде прелестного здания, любовался волшебными цветниками и сверкающим озером, видел вокруг странное смешение английских загородных костюмов и более чем олимпийской наготы, которую уже переставал замечать, и слушал завязавшуюся теперь оживленную беседу, иногда сам вставляя какое-нибудь замечание или отвечая на вопрос. В течение этой беседы раскрылись разительные различия в этических и социальных воззрениях двух миров. Но, уверовав в абсолютную реальность окружающего, мистер Барнстейпл ловил себя на мысли, что скоро он отправится домой описывать случившееся в статье для «Либерала» и рассказывать жене – с некоторыми разумными опущениями – про обычаи и костюмы этого до сих пор неведомого мира. Он даже не чувствовал, что находится где-то далеко. Сайденхем был как будто совсем рядом, за углом.

Вскоре две хорошенькие девушки приготовили чай на передвижном столике среди рододендронов и подали его присутствующим. Чай! Своим тонким ароматом он напоминал наши китайские сорта, и подавали его в чашечках без ручек на китайский манер, но это был самый настоящий чай, и очень освежающий.

Прежде всего земляне осведомились о том, как управляется Утопия. Это было вполне естественно: ведь среди них находились два таких политических светила, как мистер Берли и мистер Кэтскилл.

– Какая у вас форма правления? – осведомился мистер Берли. – Самодержавие, конституционная монархия или же чистая демократия? Разделены ли у вас исполнительная и законодательная власть? И управляет ли вашей планетой одно центральное правительство, или их существует несколько?

Утопийцам после некоторых затруднений удалось объяснить мистеру Берли и остальным землянам, что в Утопии вообще не существует центрального правительства.

– Но все-таки, – сказал мистер Берли, – у вас же должно быть какое-то лицо или учреждение – совет, бюро или еще что-нибудь в том же роде – для принятия окончательного решения, когда дело касается коллективных действий, направленных на благо всего общества. Какой-то верховный пост или суверенный орган, мне кажется, необходим...

Нет, заявили утопийцы, в их мире подобного сосредоточения власти не существует. В прошлом это имело место, но постепенно власть вернулась к обществу во всей его совокупности. Решения в каждом конкретном случае принимаются теми, кто лучше остальных осведомлен в данном вопросе.

– Но предположим, это решение должно быть обязательно для всех? Правило, касающееся общественного здравоохранения, например? Кто будет осуществлять его принудительное выполнение?

– Но ведь никого не придется принуждать. Зачем?

– А предположим, кто-нибудь откажется выполнять это правило?

– Будет выяснено, почему он или она его не выполняет. Ведь могут быть особые причины.

– А если их нет?

– Тогда мы проверим, насколько этот человек душевно и нравственно здоров.

– Психиатры в роли полицейских, – заметил мистер Берли.

– Я предпочту полицейских, – сказал мистер Руперт Кэтскилл.

– Вы, Руперт? О, несомненно, – заявил мистер Берли, словно желая сказать: «Что, съел?»

– Следовательно, – с сосредоточенным видом продолжал он, обращаясь к утопийцам, – жизнью вашего общества управляют специальные учреждения или организации (право, затрудняешься, как их назвать) без какой-либо централизованной координации их деятельности?

– Вся деятельность в нашем мире координируется идеей обеспечения общей свободы, – ответил Эрфред. – Определенное число ученых занимается общей психологией всего нашего человечества и взаимодействием различных коллективных функций.

– Так разве эта группа ученых не является правящим классом? – спросил мистер Берли.

– Нет – в том смысле, что у них нет власти произвольно навязывать свои решения, – ответил Эрфред. – Они занимаются проблемой коллективных взаимоотношений, только и всего. Но это не дает им никаких особых прав и ставит их выше всех остальных не более чем стоит философ выше узкого специалиста.

– Вот это поистине республика! – воскликнул мистер Берли. – Но как она функционирует и как она сложилась, просто не могу себе представить. Ваше государство, вероятно, в высокой степени социализировано?

– А вы до сих пор живете в мире, в котором почти все, кроме воздуха, больших дорог, открытого моря и пустынь, принадлежит частным владельцам?

– Да, – ответил мистер Кэтскилл. – Принадлежит и составляет объект конкуренции.

– Мы тоже прошли через эту стадию. Но, в конце концов, мы обнаружили, что частная собственность на все, кроме предметов сугубо личного обихода, является недопустимой помехой на пути развития человечества. И мы покончили с ней. Художник или ученый имеет в своем распоряжении весь необходимый ему материал, у каждого из нас есть свои инструменты и приборы, свое жилище и личный досуг, но собственности, которой можно было бы торговать или спекулировать, не существует. Такая вот воинствующая собственность, собственность, дающая возможность для всяческих маневров, уничтожена полностью. Однако как мы

от нее избавились – это долгая история. На это потребовалось много лет. Преувеличенная роль частной собственности была естественной и необходимой на определенном этапе развития человеческой природы. В конце концов, это привело к чудовищным и катастрофическим результатам, однако только благодаря им люди постигли, какую опасность представляет собой частная собственность и чем это объясняется.

Мистер Берли принял позу, которая была для него явно привычной. Он откинулся в своем кресле, вытянув и скрестив длинные ноги и прижав большой и указательный пальцы одной руки к большому и указательному пальцам другой.

– Должен признаться, – сказал он, – что меня очень интересует эта своеобразная форма анархии, которая, судя по всему, здесь господствует. Если я хоть в какой-то мере правильно вас понял, каждый человек у вас занимается своим делом, как слуга государства. Насколько я понимаю – пожалуйста, поправьте меня, если я заблуждаюсь, – у вас значительное число людей занято производством, распределением и приготовлением пищи; они, если не ошибаюсь, определяют потребности всего населения и удовлетворяют их, но в том, как они это делают, – они сами для себя закон. Они ведут научные изыскания, ставят опыты. Никто их не принуждает, не обязывает, не ограничивает, никто не препятствует им. («Люди высказывают им свое мнение о результатах их деятельности», – с легкой улыбкой сказал Эрфред.) Другие, в свою очередь, добывают, обрабатывают и изучают металлы для всего человечества, и опять-таки в этой области они сами для себя закон. Третьи, в свою очередь, занимаются проблемой жилья для всей вашей планеты, создают планы этих восхитительных зданий, организуют их строительство, указывают, ми будет ими пользоваться и для каких целей они предназначены. Четвертые занимаются чистой наукой. Пятые экспериментируют с чувственными восприятиями и силой воображения – это художники. Шестые учат.

– Их работа очень важна, –插入了 Ликнис.

– И все они занимаются своим делом в гармонии друг с другом, соблюдая надлежащие пропорции. Причем обходятся без центральной административной или законодательной власти. Признаюсь, все это кажется мне восхитительным – и невозможным. В мире, из которого мы попали к вам, никто никогда не предлагал ничего подобного.

– Нечто подобное уже давно было предложено «гильдейскими социалистами», – сказал мистер Барнстейпл.

– Неужели? – заметил мистер Берли. – Я почти ничего не знаю о «гильдейских социалистах». Что это было за учение? Расскажите мне.

Мистер Барнстейпл уклонился от такой сложной задачи.

– Наша молодежь прекрасно знакома с этой идеей, – сказал он только. – Ласки называет такое государство плюральным в отличие от монистичного государства, в котором власть концентрирована. Это течение существует даже у китайцев. Пекинский профессор господин Чан написал брошюру о том, что он называет «профессионализмом». Я прочитал ее недели две-три назад. Он прислал ее в редакцию «Либерала». В ней он указывает, насколько нежелательно и не нужно Китаю проходить стадию демократии западного образца. По его мнению, в Китае должно непосредственно возникнуть сотрудничество независимых функциональных классов – мандаринов, промышленников, крестьян и так далее, то есть примерно тоже, что мы находим тут. Хотя это, разумеется, требует революции в области образования и воспитания. Нет, зачатки того, что вы назвали здешней анархией, несомненно, носятся в воздухе и у нас.

– Неужели? – сказал мистер Берли с еще более сосредоточенным и внимательным выражением. – Вот как! А я не имел ни малейшего понятия.

4

Беседа и дальше велась так же беспорядочно, однако обмен мыслями шел быстро и успешно. За самое короткое время, как показалось мистеру Барнстейплу, у него сложилось достаточно полное представление об истории Утопии от Последнего Века Хаоса по настоящий день.

Чем больше он узнавал об этом Последнем Веке Хаоса, тем больше сходства находил в нем с современной жизнью на Земле. В те дни утопийцы носили множество одежд и жили в городах совсем поземному. Счастливое стечение обстоятельств, в котором сознательной деятельности принадлежала крайне малая роль, обеспечило им несколько столетий широких возможностей и быстрого развития. После долгого периода непрерывной нужды, эпидемий и губительных войн судьба улыбнулась населению их планеты: наступили благодетельные климатические и политические изменения. Впервые перед утопийцами открылась возможность изучить всю свою планету, и в результате этих исследований топор, лопата и плуг проникли в самые глухие ее дебри. Это принесло с собой резкое увеличение материальных богатств и досуга и открыло новые пути его использования. Десятки тысяч людей были вырваны из прежнего жалкого существования и при желании могли думать и действовать со свободой, о которой прежде нельзя было и мечтать. И некоторые воспользовались этой возможностью. Число их было невелико, но и его оказалось достаточно! Началось бурное развитие наук, повлекшее за собой множество важнейших изобретений, и все это чрезвычайно расширило власть человека над природой.

В Утопии и прежде бывали периоды подъема наук, но ни один из них не происходил при столь благоприятных обстоятельствах и не длился достаточно времени, чтобы принести такие обильные плоды. И вот за два века утопийцы, которые до тех пор ползали по своей планете, как неуклюжие муравьи, или паразитически ездили на более сильных и быстрых животных, научились стремительно делать и разговаривать с любым уголком своей планеты. Кроме того, они стали господами неслыханной доселе механической мощи, и не только механической: вслед за физикой и химией внесли свою лепту физиология и психология, и утопийцы оказались на пороге нового дня, обещавшего им колоссальные возможности контроля над человеческим телом и жизнью общества. Однако эти перемены, когда они, наконец, наступили, произошли так быстро и беспорядочно, что лишь незначительное меньшинство утопийцев отдавало себе отчет, какие перспективы открывает это колоссальное накопление знаний, выражавшееся пока только в чисто практическом применении. Остальные же принимали новые изобретения, как нечто само собой разумеющееся, и даже и не думали о необходимости приспособлять свое мышление и привычки к новым требованиям, заложенным в этих нововведениях.

Первой реакцией основной массы населения Утопии на обретенные могущество, досуг и свободу было усиленное размножение. Человечество размножалось так же усердно и бездумно, как животные или растения в подобных же благоприятных обстоятельствах. Оно размножалось до тех пор, пока все новые ресурсы не были полностью истощены. В бессмысленном и хаотическом воспроизведении обычной убогой жизни оно транжирило великие дары науки с такой же быстротой, с какой их получало. В Последнем Веке Хаоса наступил момент, когда население Утопии превысило два миллиарда человек...

– А каково оно сейчас? – спросил мистер Берли.

Примерно двести пятьдесят миллионов, ответили утопийцы. Таково было максимальное число, которому площадь Утопии предоставляла до сих пор возможность для полной и гармоничной жизни. Но теперь, с увеличением материальных ресурсов, увеличивается и население.

У отца Эмертона вырвался стон ужаса. Его зловещее предчувствие оправдалось. Это было посягательство на основу основ его нравственных убеждений.

– И вы осмеливаетесь регулировать прирост населения?! Вы его контролируете?! Ваши женщины соглашаются рожать или не рожать в зависимости от статистики?!

– Разумеется, – ответил Эрфред. – А чем это плохо?

– Так я и знал! – воскликнул отец Эмертон. Он склонил голову и закрыл лицо руками, бормоча:– Это носилось в воздухе. Человечий племенной завод! Отказываются творить души живые! Что может быть гнуснее и греховнее! О господи!

Мистер Берли наблюдал сквозь свое пенсне за переживаниями преподобного отца с легкой брезгливостью. Он терпеть не мог банальностей. Однако отец Эмертон представлял очень влиятельные консервативные слои общества. Мистер Берли вновь повернулся к утопийцу.

– Это очень интересно, – сказал он. – Даже в настоящее время население, которое кормит наша Земля, в пять раз, если не больше, превышает эту цифру.

– Однако зимой этого года, как вы нам только что говорили, около двадцати миллионов человек должны умереть от голода в месте, которое называется «Россия». И ведь лишь незначительная часть остальных ведет жизнь, которую даже по вашим меркам можно назвать полной и ничем не стесненной?

– Тем не менее, соотношение этих цифр поразительно, – сказал мистер Берли.

– Это ужасно, – бормотал отец Эмертон.

Однако утопийцы продолжали утверждать, что перенаселенность планеты в Последнем Веке Хаоса была главным злом, порождавшим все остальные несчастья тогдашнего человечества. Мир захлебывался во все растущем потоке новорожденных, и интеллигентное меньшинство было бессильно воспитать хотя бы часть молодого поколения так, чтобы оно могло во всеоружии встретить требования новых и по-прежнему быстро меняющихся условий жизни. К тому же положение этого интеллигентного меньшинства не давало ему никакой возможности заметно влиять на судьбы человечества. Огромные массы населения, неизвестно зачем появившиеся на свет, покорные рабы устаревших, утративших смысл традиций, податливые на грубейшую ложь и лесть, представляли собой естественную добычу и опору любого ловкого демагога, проповедующего доктрину успеха, достаточно низкопробную, чтобы прийтись им по вкусу. Экономическая система, неуклюже и судорожно приспособившаяся к новым условиям производства и распределения, становилась средством, с помощью которого алчная кучка хищников все более жестоко и бесстыдно эксплуатировала гигантские скопления простого люда. А этот слишком уж простой «простой люд» от колыбели до могилы знал только нищету и порабощение; его улещивало и обманывало, его покупало, продавало и подчиняло себе наглое меньшинство, которое было смелее и, несомненно, предприимчивее его, но в интеллектуальном отношении нисколько его не превосходило. Современный утопиец, сказал Эрфред, не в силах передать всю меру чудовищной глупости, расточительности и душевного ничтожества, которые были свойственны этим богатым и могущественным властителям Последнего Века Хаоса.

(– Мы не станем вас затруднять, – сказал мистер Берли. – К несчастью, нам это известно... слишком хорошо известно!)

И вот на это чудовищно раздувшееся разлагающееся население в конце концов обрушились всяческие беды – так слетаются осы на груды гниющих фруктов. Это была его естественная, неизбежная судьба. Война, охватившая почти всю планету, нанесла непоправимый удар ее хрупкой финансовой системе и экономике. Гражданские войны и неуклюжие попытки социальных революций еще больше способствовали всеобщему развалу. Несколько последовавших друг за другом неурожайных лет сделали обычную всемирную угрозу голода еще более грозной. А недалековидные эксплуататоры, по глупости своей не понимавшие происходящего, продолжали обманывать и надувать массы и втихомолку расправлялись с честными людьми, пытавшимися сплотиться против них, – так осы продолжают есть, даже если их туловище отсечено. Стремление творить исчезло из жизни Утопии, триумфально вытесненное стремлением

получать. Производство постепенно сошло на нет. Накопленные богатства истощились. Жесточайшая долговая система, рои кредиторов неспособных поступиться своей выгодой во имя общего блага, сделали какую-либо новую инициативу невозможной.

Длительная диастола, которая наступила в жизни Утопии с эпохой великих открытий, перешла в фазу быстрой систолы. Чем меньше оставалось в мире изобилия и радостей, тем более жадно их захватывали напористые финансисты и спекулянты. Организованная наука давно уже была поставлена на службу коммерции и «прикладывалась» теперь в основном лишь для поисков выгодных патентов и перехвата необходимого сырья. Оставленный в пренебрежении светильник чистой науки тускнел, мигал и грозил совсем погаснуть, оставив Утопию перед началом новой вереницы Темных веков, подобных тем, которые предшествовали эпохе открытий...

– Право, это очень похоже на мрачные прогнозы нашего собственного будущего, – заметил мистер Берли. – Удивительно похоже! Какое удовольствие доставило бы все это настоящему Ингу!

– Еретiku его толка, конечно, это очень понравилось бы, – невнятно пробормотал отец Эмертон.

Их реплики раздосадовали мистера Барнстейпла, которому не терпелось услышать, что было дальше.

– А потом, – спросил он Эрфреда, – что было потом?

5

А потом, насколько мог понять мистер Барнстейпл, произошел сознательно подготовленный переворот в мировоззрении утопийцев. Все большее число людей начинало понимать, что с тех пор, как наука и высокая организация дали в руки человеку могучие и легко высвобождаемые силы, старая концепция социальной жизни государства, как узаконенной внутри определенных рамок борьбы людей, стремящихся взять верх друг над другом, стала слишком опасной, а возросшая мощь современного оружия сделала слишком опасной суверенность отдельных стран. Должны были появиться новые идеи и новые формы общества, иначе его история завершилась бы полной и непоправимой катастрофой.

До тех пор основой всякого общественного строя было обуздание с помощью законов, моральных запретов и договоров той первобытной воинственности, которую человек унаследовал от своего обезьяноподобного предка; этот древний дух самоутверждения теперь нужно было подчинить новым ограничениям, которые отвечали бы новому опасному могуществу, обретенному человечеством. Идея соперничества за право обладания как основной принцип общения людей между собой теперь, словно плохо отрегулированный котел, грозила разнести вдребезги ту машину, которую прежде снабжала энергией для движения вперед. Ее должна была заменить идея творческого служения. Социальная жизнь могла сохраниться только в том случае, если человеческий разум и воля воспримут эту идею. Мало-помалу выяснялось, что положения, которые в предшествующие века считались неосуществимыми идеалами, порожденными воображением вдохновенных мечтателей, представляют собой даже не просто трезвую психологическую истину, но истину, требующую немедленного практического применения. Объясняя это, Эрфред выражал свою мысль таким образом, что в мозгу мистера Барнстейпла всплыли отголоски каких-то очень знакомых фраз: Эрфред словно утверждал, что тот, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а тот, кто потеряет жизнь свою, тот приобретет весь мир.

В мозгу отца Эмертона возникли, очевидно, те же ассоциации, так как он неожиданно перебил Эрфреда восклицанием:

– Но ведь вы цитируете Священное писание!

Эрфред подтвердил, что ему действительно пришла на ум цитата, отрывок из поучений человека, наделенного большим поэтическим даром и жившего, очень давно, в эпоху звучащих слов.

Затем Эрфред собирался продолжать свой рассказ, но отец Эмертон в сильном волнении засыпал его градом вопросов:

– Но кто был этот учитель? Где он жил? Каковы обстоятельства его рождения? Как он умер?

В мозгу мистера Барнстейпла проплыла картина: бледный, исполненный скорби человек, избитый, весь в крови, окруженный стражей, в самой гуще возбужденной толпы смуглых людей, колышущейся в узкой улочке между высокими стенами. Позади несли какое-то большое, зловещего вида приспособление, которое дергалось и покачивалось в такт движению толпы...

– Неужели он умер на кресте и в этом мире тоже? – вскричал отец Эмертон. – Он умер на кресте?

Этот утопийский пророк, узнали они, умер очень мучительной смертью, но не на кресте. Его сначала подвергли пыткам, но ни утопийцы, ни эти земляне не обладали необходимыми знаниями, чтобы получить ясное представление о том, в чем они заключались, а затем его как будто привязали к колесу, которое медленно вращалось, пока он не умер. Это была гнусная казнь, изобретенная жестокими завоевателями, и пророка казнили так потому, что его доктрина всеобщего служения напугала богатых и власть имущих, которые никому не служили. Перед глазами мистера Барнстейпла на миг возникло изломанное тело на пыточном колесе под палящим солнцем. Но какая великолепная победа над смертью! Из мира, способного на такие чудовищные деяния, родились окружающие его сейчас великий покой и всепроникающая красота!

Однако отец Эмертон еще не кончил свои расспросы:

– Но разве вы не поняли, кто это был? Ваш мир не догадался об этом?

Очень многие считали, что этот человек был богом. Но он обыкновенно называл себя просто сыном божьим или сыном человеческим.

Отец Эмертон продолжал настойчиво идти к своей цели:

– А теперь вы ему поклоняетесь?

– Мы следуем его учению, потому что оно было великим и в нем заключалась истина, – ответил Эрфред.

– Но не поклоняетесь ему?

– Нет.

– И никто не поклоняется? Ведь вы же сказали, что прежде были люди, которые ему поклонялись?

Да, были, те, кто отступил перед суровым величием его учения и в то же время мучительно сознавал, что в нем скрыта глубокая правда. И вот такие люди пытались одурачить свою встревоженную совесть, поклоняясь ему, как божку, наделенному волшебной силой, вместо того, чтобы признать его путеводным маяком своей души. Они придали его казни то же магическое значение, которое придавали некогда ритуальным убийствам царей. Вместо того чтобы просто и честно следовать его идеям, претворяя их в свое мировоззрение и волю, они предпочитали мистически вкушать его, претворяя в свое тело. Они превратили колесо, на котором он погиб, в чудотворный символ и видели его в экваторе, в солнце, в эклиптике – короче говоря, в любом круге. В случае неудачи, болезни, скверной погоды верующие считали очень полезным описать в воздухе указательным пальцем круг.

А так как память об учителе, благодаря его кротости и милосердию, была очень дорога невежественным массам, этим воспользовались хитрые властолюбцы, которые объявили себя защитниками и опорой колеса, во имя его богатели и становились все могущественнее, застав-

ляли народы воевать за него и, прикрываясь им, оправдывали свою зависть, ненависть, тиранию и удовлетворение самых темных своих страстей. И, наконец, люди стали даже говорить, что, вернись древний пророк в Утопию вновь, его собственное торжествующее колесо вновь изломало бы его тело...

Эти подробности не заинтересовали отца Эмертона. У него была своя точка зрения.

– Но все же, – нетерпеливо сказал он, – хоть частичка этих верующих должна же была сохраниться? Пусть их презируют, но они все-таки есть?

Нет, и частички не сохранилось. Весь мир следует идеям этого Величайшего Учителя, но никто ему не поклоняется. На стенах некоторых старинных, тщательно охраняемых зданий уцелели вырезанные знаки колеса, иногда усложненные самыми фантастическими декоративными украшениями. Кроме того, в музейных коллекциях можно увидеть множество картин, статуй, амулетов и других предметов его культа.

– Не понимаю! – сказал отец Эмертон, – Как это ужасно! Я не знаю, что и подумать. Я не в силах этого понять.

6

Белокурый худощавый человек с тонкими изящными чертами лица, которого, как позднее узнал мистер Барнстейпл, звали Лев, вскоре освободил Эрфреда от тяжелой обязанности давать землянам объяснения и отвечать на их вопросы.

Он был одним из утопийских координаторов образования. Он рассказал, что наступившие в Утопии перемены не явились результатом внезапной революции. Новая система законов и обычаев, новый метод экономического сотрудничества, опирающийся на идею общего служения коллективному благу, вовсе не возникли в одно мгновение законченными и совершенными. На протяжении длительного периода перед Последним Веком Хаоса и во время него все возрастающее количество исследователей и творцов закладывало основы государства нового типа, работая без какого-либо заранее составленного плана или готового метода, но бессознательно сотрудничая друг с другом, потому что их объединяло присущее им всем желание служить человечеству, а также ясность и благородство ума. Только к самому завершению Последнего Века Хаоса в Утопии психологическая наука начала наконец развиваться в темпах, сравнимых с темпами развития географических и физических наук в предыдущие столетия. Это объяснялось тем, что социальный и экономический хаос, ставивший рогатки на пути экспериментальной науки и уродовавший организованную работу университетов, в то же время делал необходимым исследование процесса взаимообщения людей – и оно велось с напряжением отчаяния.

Насколько понял мистер Барнстейпл, речь шла не об одном из тех бурных переворотов, которые наш мир привык называть революциями, но о постепенном рассеивании мрака, о наступлении зари новых идей, под влиянием которых прежний порядок вещей медленно, но верно менялся, и, в конце концов, люди начали поступать, по-новому, так, как этого требовал от них простой здравый смысл.

Новый порядок зарождался в научных дискуссиях, в книгах и психологических лабораториях, его питательной средой стали школы и университеты. Старый порядок скудно оплачивал школьных учителей, и те, кто властвовал в нем, были слишком заняты борьбой за богатство и могущество, чтобы думать о вопросах образования и воспитания; их они оставили на усмотрение тех, кто был готов, не заботясь о материальном вознаграждении, посвятить свой ум и труд пробуждению нового сознания у подрастающего поколения. И они этого добились. В мире, где все еще правили демагоги-политиканы, в мире, где власть принадлежала хищным предпринимателям и ловким финансистам, в том мире все больше утверждалось учение о том, что крупная частная собственность является социальным злом и что государство не может

нормально функционировать, а образование – приносить желаемые плоды, пока существует класс безответственных богачей. Ибо по самой своей природе этот класс должен был губить, портить и подрывать любое государственное начинание; их паразитическая роскошь искажала и компрометировала все истинные духовные ценности. Их надо было уничтожить для блага всего человечества.

– А разве они не боролись? – с вызовом спросил мистер Кэтскилл.

Да, они боролись – бестолково, но яростно. В течение почти пятисот лет в Утопии шла сознательная борьба за то, чтобы не допустить возникновения всемирного научного государства, опирающегося на воспитание и образование, или хотя бы задержать его возникновение. Это была борьба алчных, разнузданных, предубежденных и своекорыстных людей против воплощения в жизнь новой идеи коллективного служения. Стоило где-нибудь появиться этой идее, как с ней начиналась борьба: с ней боролись увольнениями, угрозами, бойкотами, кровавыми расправами, с ней боролись ложью и клеветническими обвинениями, с ней боролись судом и тюрьмой, веревкой линчевателей, дегтем и перьями, огнем, дубиной и ружьем, бомбами и пушками.

Но служение этой новой идее не прекращалось ни на миг; с непреодолимой силой она овладевала умами и душами людей, в которых нуждалась. Прежде чем в Утопии утвердилось научное государство, во имя его утверждения погибло более миллиона мучеников – а тех, кто просто терпел ради него беды и страдания, сосчитать вообще невозможно. Все новые и новые позиции отвоевывались в системе образования, в социальных законах, в экономике. Точной даты перемены не существует. Просто Утопия, в конце концов, увидела, что заря сменилась солнечным днем, и новый порядок вещей окончательно вытеснил старый...

– Да так и должно случиться, – сказал мистер Барстейпл, словно вокруг него не было преображенной Утопии. – Так и должно случиться.

Лев тем временем начал отвечать на чей-то вопрос. Каждого ребенка в Утопии обучают в полную меру его способностей, а затем поручают ему работу, соответствующую его склонностям и возможностям. Он рождается в самых благоприятных условиях. Он рождается от здоровых родителей – после того, как его мать решит иметь ребенка и достаточно подготовится к этому. Он растет в абсолютно здоровой обстановке; его природная потребность играть и любознательность удовлетворяются согласно самым тонким методам воспитания; его руки, глаза и тело получают все необходимое для тренировки и нормального развития; он учится рисовать, писать и выражать свои мысли, пользуясь для этого множеством самых разнообразных символов. Доброжелательность и вежливость воспитываются сами собой – ведь все вокруг добры и вежливы. Особенное внимание уделяется развитию детского воображения. Ребенок знакомится с удивительной историей своего мира и человеческого рода: он узнает, как боролся и борется человек, чтобы преодолеть свою изначальную животную узость и эгоизм и добиться полной власти над своей внутренней сущностью, которую он еще только-только начинает прозревать сквозь густое покрывало неведения. Все его желания облагораживаются. Поэзия, пример и любовь тех, кто его окружает, учат его в любви забывать о себе ради другого; его чувственная страсть, таким образом, становится оружием против его эгоизма, его любопытство превращается в одержимость наукой, его воинственность обращается против нарушения разумного порядка, его гордость и самолюбие воплощаются в стремление внести почетную долю в общие достижения. Он выбирает работу, которая ему нравится, и сам решает, чем ему заниматься.

Если индивид ленив, это не страшно, так как утопийского изобилия хватит на всех, но такой человек не найдет себе пары, у него не будет детей, потому что ни один юноша, ни одна девушка в Утопии не полюбят того, кто лишен энергии и не хочет ни в чем отличиться. Утопийская любовь опирается на гордость за друга или подругу. И в Утопии нет ни паразитического «светского общества» богачей, ни игр и зрелищ, рассчитанных на развлечение бездель-

ников. Для бездельников в ней вообще ничего нет. Это очень приятный мир для тех, кто время от времени отдыхает от работы, но не для тех, кто вообще ничего не желает делать.

Уже несколько столетий назад утопийская наука научилась управлять наследственностью, и чуть ли не каждый ныне живущий утопиец принадлежит к типу, который в далеком прошлом именовался деятельным и творческим. В Утопии почти нет малоспособных людей, а слабоумные отсутствуют вовсе; лентяи, люди, склонные к апатии или наделенные слабым воображением, постепенно вымерли; меланхолический тип уже давно забыт; злобные и завистливые характеры уже в значительной степени исчезли. В подавляющем большинстве утопийцы энергичны, инициативны, изобретательны, восприимчивы и доброжелательны.

– И у вас нет даже парламента? – спросил мистер Берли, который никак не мог с этим примириться.

Нет, в Утопии нет ни парламента, ни политики, ни частного богатства, ни коммерческой конкуренции, ни полиции, ни тюрем, ни сумасшедших, ни слабоумных, ни уродов. А всего этого нет потому, что в Утопии есть школы и учителя, которые в полной мере осуществляют главную задачу любой школы и любого учителя. Политика, коммерция и конкуренция – это формы приспособления к жизни общества, еще очень далекого от совершенства. Утопия отказалась от них уже тысячелетие назад. Взрослые утопийцы не нуждаются ни в контроле, ни в правительстве, потому что их поведение в достаточной мере контролируется и управляется правилами, усвоенными в детстве и ранней юности.

И Лев закончил так:

– Наше воспитание и образование – вот наше правительство.

Глава шестая

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЗЕМЛЯН

1

В течение этого достопамятного дня и вечера мистеру Барнстейплу по временам начинало казаться, что он всего лишь разговаривает с кем-то о формах правления и об истории, но разговор этот непонятным образом обрел зрительное воплощение; ему чудилось даже, что все это происходит только в его мозгу, но тут же он вновь осознавал абсолютную реальность случившегося, и поразительность ситуации отвлекала его внимание от обсуждения, несомненно, интересных проблем. В такие минуты его взгляд скользил по лицам сидевших вокруг утопийцев, на мгновение переходил на какую-нибудь особенно красивую архитектурную деталь, а затем вновь обращался к этим божественно прекрасным людям.

Затем, словно не веря глазам, он поворачивался к своим собратьям-землянам.

У всех без исключения утопийцев лица были открытыми, одухотворенными и красивыми, как лица ангелов на итальянских картинах. Одна из женщин чем-то походила на Дельфийскую Сивиллу Микеланджело. Они сидели в непринужденных позах, мужчины и женщины попеременно, и внимательно следили за беседой, однако порой мистер Барнстейпл встречал устремленный на него внимательный, хотя и дружеский взгляд, или обнаруживал, что какой-нибудь утопиец с любопытством рассматривает платье леди Стеллы или монокль мистера Маша.

Сначала мистеру Барнстейплу показалось, что все утопийцы очень молоды, но теперь он заметил, что многие лица помечены печатью деятельной зрелости. Ни на одном нельзя было отыскать признаков старости, обычных для нашего мира, но у губ, под глазами и на лбу Эрфреда и Льва пролегли складки, которые оставляют размышления и жизненный опыт.

При взгляде на этих людей мистер Барнстейпл испытывал двойственное ощущение: словно он видел что-то невероятное и в то же время очень знакомое. Ему казалось, будто он всегда знал о существовании подобных людей, и именно это сознание определяло его отношение к тысячам различных аспектов земной жизни, но в то же время он был настолько ошеломлен, оказавшись в одном с ними мире, что все еще опасался, не грезит ли он. Они одновременно представлялись ему и чем-то естественным и безмерно чудесным по сравнению с ним самим и его спутниками, которые, в свою очередь, казались одновременно и чем-то нелепым и само собой разумеющимся.

И вместе с горячим желанием стать близким и своим для этих прекрасных и милых людей, причислить себя к ним, обрести общность с ними через служение единой цели и взаимные услуги, в его душе жил благоговейный страх перед ними, который заставлял его избегать какого-либо контакта с ними и вздрагивать от их прикосновения. Он так жаждал, чтобы они признали в нем собрата и товарища, что ощущение собственной ненужности и недостойности совсем его подавляло. Ему хотелось пасть перед ними ниц. Ясность и прелесть того, что его окружало, порождали в нем невыносимо мучительное предчувствие, что, в конце концов, этот новый мир отвергнет его.

Утопийцы произвели на мистера Барнстейпла такое глубокое впечатление, он с такой полнотой отдался радостному созерцанию их изящества и красоты, что некоторое время не замечал, насколько мало разделяют его восторг некоторые из землян. Утопийцы были так далеки от земной нелепости, безобразия и жестокости, что он готов был безоговорочно одобрить любые их институты и весь их образ жизни.

Но тут поведение отца Эмертона открыло ему глаза на тот факт, что эти замечательные люди могут вызывать злобное неодобрение и даже прямую враждебность. Сначала округлившиеся глаза отца Эмертона и все его круглое лицо над круглым воротником выражали только простодушное изумление; он покорно следовал за тем, кто проявлял какую-нибудь инициативу, и не сказал ни слова до тех пор, пока нагая красота мертвой Гринлейк не вырвала у него восклицания излишне мирского восторга. Однако за время полета к озеру, завтрака и приготовлений к беседе его наивное и смиренное удивление успело смениться упрямым протестом и враждебностью. Словно этот новый мир из зрелища превратился в некую догму, которую он должен был принять или отвергнуть. Возможно, привычка порицать общественные нравы была в нем слишком сильна, и он чувствовал себя хорошо только тогда, когда начинал обличать. А возможно, его искренне возмущала и пугала почти абсолютная нагота прелестных тел вокруг. Но как бы то ни было, вскоре он принялся хмыкать и покашливать, ворчать себе под нос и всяческими другими способами выражать нетерпение.

В первый раз он дал волю своему негодованию, когда речь зашла о численности населения. Затем на короткий срок его рассудок взял верх над эмоциональной бурей – пока им рассказывали о колесованном пророке, – но теперь он вновь подпал под власть все растущего возмущения. Мистер Барнстейпл услышал, что он бормочет:

– Я должен говорить. Я не могу более молчать.

И он начал задавать вопросы.

– Мне хотелось бы получить ясное представление о некоторых вещах, – сказал он. – Я хочу знать, каково состояние нравственности в этой так называемой Утопии. Прошу прощения!

Он вскочил. Несколько секунд он стоял, размахивая руками, не в состоянии говорить. Затем он прошел в конец ряда кресел и встал так, чтобы можно было положить руки на спинку крайнего из них. Он провел ладонью по волосам и глубоко вздохнул. Его глаза засверкали, лицо покраснело и залоснилось. В голове мистера Барнстейпла мелькнуло ужасное подозрение: наверное, именно в этой позе отец Эмертон начинал свои еженедельные проповеди, эти свои

бесстрашные обличения всех и вся в вест-эндской церкви святого Варнавы. Это подозрение тут же перешло в еще более ужасную уверенность.

– Друзья, братья из этого нового мира! Я должен говорить с вами и не могу этого откладывать. Я хочу задать вам несколько проникновенных вопросов. Я хочу прямо говорить с вами о неких простых и ясных, но самых важных вещах. Я хочу откровенно, как мужчина с мужчинами, обсудить с вами без экивоков существеннейшие, хотя и очень деликатные вопросы. Позвольте мне без лишних слов перейти к делу. Я хочу спросить у вас: уважаете ли вы, почитаете ли вы еще в этом так называемом государстве Утопии самое священное, что только есть в жизни общества? Читаете ли вы еще узы брака?

Он умолк, и во время этой паузы мистер Барнстейпл уловил ответ кого-то из утопийцев:

– В Утопии нет никаких уз.

Однако отец Эмертон задавал вопросы вовсе не для того, чтобы получать на них ответы, это был всего лишь риторический прием опытного проповедника.

– Я хочу знать, – гремел он, – почитается ли здесь священный союз, открытый нашим прародителям в Эдеме? Является ли главным правилом вашей жизни благословенная свыше близость одного мужчины и одной женщины в счастье и в беде, близость, не допускающая никакой иной близости? Я хочу знать...

– Но он вовсе не хочет знать! – перебил кто-то из утопийцев.

– ...была ли эта лелеемая и охраняемая обоюдная чистота...

Мистер Берли поднял руку с длинными белыми пальцами.

– Отец Эмертон, – сказал он настойчиво. – Будьте так добры...

Рука мистера Берли была весьма могущественной рукой, по-прежнему способной указать наиболее предпочтительный путь. Когда отец Эмертон отдавался во власть одной из своих душевных бурь, мало что в мире могло заставить его остановиться, но рука мистера Берли принадлежала к немногим исключениям.

– ...отвергнута и отринута здесь вслед за другим еще более бесценным даром? В чем дело, мистер Берли?

– Мне представляется желательным, отец Эмертон, чтобы в настоящий момент вы более не касались этих вопросов. Погодите, пока мы не узнаем больше. Совершенно ясно, что здешние институты заметно отличаются от наших. Даже институт брака может быть здесь иным.

Лицо проповедника потемнело.

– Мистер Берли, – сказал он, – это мой долг. Если мои подозрения справедливы, я хочу сорвать с этого мира обманчивый покров здоровья и добродетели...

– Что уж тут срывать! – довольно громко пробормотал шофер мистера Берли.

Голос мистера Берли стал почти резким.

– В таком случае задавайте вопросы, – сказал он. – Задавайте вопросы. Будьте добры, обходитесь без риторики. Они не интересуются нашей риторикой.

– Я спросил то, что хотел спросить, – оскорбленно пробурчал отец Эмертон и, смерив Эрфреда вызывающим взглядом, остался стоять в прежней позе.

Он получил ясный и исчерпывающий ответ. В Утопии мужчин и женщин не обязывают разбиваться на пары, связанные нерасторжимым союзом. Для большинства утопийцев это было бы неудобно. Очень часто мужчины и женщины, которых тесно сближала общая работа, становились любовниками и почти все время проводили вместе, как, например, Арден и Гринлейк. Но на то была их добрая воля.

Такая свобода существовала не всегда. В былые дни перенаселения и противоречий мужчины и женщины Утопии, вступавшие в любовные отношения, связывались на всю жизнь под угрозой тяжких наказаний – особенно в среде сельскохозяйственных рабочих и других подчиненных сословий. Такие пары жили вместе в крохотном жилище, которое женщина убирала и содержала в порядке для мужчины, она была его служанкой и рожала ему как можно больше

детей, а он добывал пищу для всех них. Иметь детей они хотели потому, что ребенок вскоре начинал приносить пользу, помогая обрабатывать землю или работая по найму. Но неблагоприятные условия, обрекавшие женщину на такого рода спаривание, давно исчезли.

Люди по-прежнему живут парами со своими избранниками, но поступают они так в силу внутренней потребности, а не подчиняясь внешнему принуждению.

Отец Эмертон слушал все это с плохо скрываемым нетерпением. Наконец он не выдержал и закричал:

– Так, значит, я был прав, и вы уничтожили семью?! – Его указующий на Эрфреда перст превращал эти слова почти в личное обвинение.

Нет. Утопия не уничтожила семьи. Она освятила семью и раздвинула ее рамки, пока та не обняла все человечество. В давние времена колесованный пророк, который, как кажется, внушает отцу Эмертону большое уважение, проповедовал именно такое расширение древней узости домашнего очага. Как-то во время одной из его проповедей ему сказали, что снаружи его дожидаются мать и братья, но он не пошел к ним, а указал на слушающую его толпу и ответил: «Вот моя мать и мои братья!»

Отец Эмертон ударил кулаком по спинке кресла с такой силой, что все вздрогнули.

– Увертка! Жалкая увертка! – крикнул он. – И Сатана может ссылаться на Писание!

Мистеру Барнстейплу было ясно, что отец Эмертон не владеет собой. Он сам пугался своего поведения, но остановиться не мог. В своем волнении он утратил ясность мысли и потерял власть над голосом – он кричал, он вопил, как безумный. Он «дал себе волю» и надеялся, что привычки, приобретенные на кафедре церкви святого Варнавы, помогут ему и тут.

– Теперь я понимаю, как вы живете. Слишком хорошо понимаю! С самого начала я догадывался об этом. Но я ждал – ждал, чтобы удостовериться, прежде чем выступить со своим свидетельством. Ваш образ жизни сам говорит за себя – бесстыдство ваших одеяний, распущенность ваших нравов! Юноши и девушки улыбаются, берутся за руки, чуть ли не ласкаются, когда потупленные глаза – потупленные глаза! – были бы наименьшей данью стыдливости. А эти гнусные рассуждения о любовниках, любящих без уз и без благословения, без установлений и ограничений! Что они означают? И куда они ведут? Не воображайте, что, будучи священнослужителем, человеком чистым и девственным вопреки великим искушениям я не способен понять всего этого! Или мне не открыты сокровенные тайны людских сердец? Или наказанные грешники – разбитые сосуды – не влекутся ко мне с исповедью, достойной гнева и жалости? Так неужели я не скажу вам прямо, кто вы такие и куда идете? Эта ваша так называемая свобода не что иное, как распутство. Ваша так называемая Утопия предстала передо мной адом дикого разгула всех плотских страстей! Дикого разгула!

Мистер Берли протестующе поднял руку, но эта преграда уже не могла остановить красноречия отца Эмертона.

Он бил кулаком по спинке кресла.

– Я буду свидетельствовать! – кричал он, – Я буду свидетельствовать! Я не побоюсь сказать всю правду. Я не побоюсь назвать вещи своими именами, говорю я вам! Вы все живете в свальном грехе! Вот слово для этого! Как скоты! Как непотребные скоты!

Мистер Берли вскочил на ноги. Подняв ладони, он жестом приказывал лондонскому Иеремии скорее сесть.

– Нет, нет! – воскликнул государственный муж. – Замолчите, мистер Эмертон! Право, вам следует замолчать. Ваши слова оскорбительны. Вы не понимаете. Сядьте же, будьте добры. Я требую, чтобы вы сели.

– Сядьте и успокойтесь, – сказал звонкий голос. – Или вас уведут.

Что-то заставило отца Эмертона оглянуться на неподвижную фигуру, возникшую чуть позади него. Он встретился взглядом со стройным юношей, который внимательно его рассматривал, словно художник нового натуралиста. В выражении его лица не было ничего угрожаю-

щего, он стоял неподвижно, и все же отец Эмертон весь как-то удивительно съезжился. Поток его обличительного красноречия внезапно иссяк.

Послышался невозмутимо-любезный голос мистера Берли, спешившего уладить конфликт:

– Мистер Серпентин, сэр! Я взываю к вашей терпимости и приношу извинения. Он не вполне отвечает за свои поступки. Мы, все остальные, очень сожалеем об этом отступлении, этом досадном инциденте. Прошу вас, не уводите его, что бы это ни означало. Ручаюсь, что такая выходка больше не повторится... Да сядьте же, мистер Эмертон, будьте так добры, и немедленно, или я умою руки.

Отец Эмертон колебался.

– Мое время настанет, – сказал он, несколько секунд смотрел в глаза юноши, а затем вернулся на свое место.

Эрфред сказал спокойно и внятно:

– Вы, земляне, оказались нелегкими гостями. И это еще не все... Совершенно очевидно, что у этого человека очень грязный ум. Его сексуальное воображение, несомненно, болезненно возбуждено и извращено. Он рассержен и стремится оскорблять и причинять боль. И производимый им шум невыносим для слуха. Завтра его придется осмотреть и заняться им.

– Что? – пробормотал отец Эмертон, и его круглое лицо вдруг приобрело землистый оттенок. – Как это «заниматься»?

– Пожалуйста, замолчите, – сказал мистер Берли, – Пожалуйста, больше ничего не говорите. Вы и так уже наговорили много лишнего.

Инцидент, казалось, был исчерпан, но в душе мистера Барнстейпла он оставил странный осадок страха. Эти утопийцы были очень любезны, их манеры были удивительно мягки, но на мгновение над землянами словно нависла властная рука. Вокруг них сияла залитая солнечным светом красота, но, тем не менее, они были чужестранцами – и беззащитными чужестранцами – в неведомом мире. Лица утопийцев казались добрыми, их взгляды – любопытными и в какой-то мере дружелюбными, однако гораздо более наблюдающими, чем дружелюбными. Словно смотревшие находились на другой стороне непреодолимой пропасти различия.

Но тут совсем расстроившийся мистер Барнстейпл встретил взгляд карих, глаз Ликнис, и они показались ему добрее глаз остальных утопийцев. Во всяком случае, она, решил он, поняла, какой страх его мучает, и хочет его успокоить, заверить в своей дружбе. И мистер Барнстейпл, посмотрев на нее, почувствовал то же, что, наверное, чувствует заблудившаяся собачонка, когда, приблизившись к людям, которые могут оказаться и врагами, она вдруг встречает ласковый взгляд и слышит приветливое слово.

2

Другой душой, активно восстававшей против Утопии, была душа мистера Фредди Маша. Его ничуть не возмущали религия, нравственность или социальная организация Утопии. Он уже давно твердо усвоил, что истинный джентльмен-эстет не интересуется подобными вещами. Он исходил из гипотезы, что его восприятие слишком утончено для них. Однако, как он вскоре заявил, научные методы утопийцев уничтожили нечто весьма древнее и прекрасное, именуемое «Равновесием Природы». В чем заключалось это «Равновесие Природы» и как оно осуществлялось на Земле ни утопийцы, ни мистер Барнстейпл так и не смогли понять. Когда его попытались расспросить подробнее, мистер Маш порозовел, стал нервничать, и его монокль обиженно заблестел.

– Я сужу по ласточкам, – твердил он, – Если вы и это не считаете доказательством, то, право, не знаю, что еще я могу сказать.

Он вновь и вновь повторял только одно, что в Утопии не видно ласточек. Ласточек же в Утопии не было видно потому, что в ней не было комаров и мошкеры. В Утопии произошло сознательное уничтожение значительной части мира насекомых, а это тяжело отразилось на всех существах, чья жизнь прямо или косвенно зависела от насекомых. Едва новый порядок прочно утвердился в Утопии и научное государство начало свою деятельность, утопийское общество обратилось к осуществлению давней мечты о систематическом уничтожении вредных и неприятных животных и растений. Проводилось тщательное исследование того, насколько вредны и подлежат ли уничтожению, например, домашние мухи, осы и шершни, различные виды мышей и крыс, кролики и жгучая крапива. Десять тысяч видов, начиная с болезнетворных микробов и кончая носорогами и гиенами, были подвергнуты суду. Каждому виду был дан защитник. О каждом спрашивалось: какую он приносит пользу? Какой вред? Как можно его уничтожить? Стоит ли его уничтожение связанных с этим хлопот? Или его можно обезвредить и сохранить? И даже когда тому или иному виду выносился окончательный смертный приговор, Утопия приступала к его уничтожению с большой осмотрительностью. В каком-нибудь надежно изолированном месте сохранялся достаточный резерв особей осужденного вида – в некоторых случаях он сохранялся еще и по сей день.

Большинство инфекционных лихорадок было уничтожено полностью – с одними удалось покончить без особого труда, но для того, чтобы избавить человечество от других, пришлось объявить им настоящую войну и подчинить все население планеты строжайшей дисциплине. Кроме того, были полностью истреблены многие виды, паразитировавшие на человеке и животных. Мир был совершенно очищен от вредных насекомых, сорняков, всяческих гадов и животных, опасных для человека. Исчезли москиты, домашняя муха, навозная муха и еще множество всяких мух; они исчезли в результате широчайшей компании, потребовавшей огромных усилий и длившейся несколько веков. Было несравненно легче избавиться от таких крупных врагов, как гиены и волки, чем от этих мелких вредителей. Война против мух потребовала полнейшей перестройки значительной части утопийских домов и проведения тщательной дезинсекции на всей планете.

Наиболее сложная проблема, которую пришлось разрешать утопийцам в этой связи, заключалась в возможных гибельных последствиях такой чистки для других растений и животных. Например, некоторые насекомые в стадии личинки были вредны и неприятны, были губительны в стадии гусеницы или окукливания, но затем либо радовали глаз своей красотой, либо были необходимы для опыления каких-нибудь полезных или красивых цветов. Другие, сами по себе вредоносные, оказывались единственной пищей нужных и приятных созданий. Неверно, что ласточки совсем перевелись в Утопии, но они стали очень редкими птицами, как и значительное число насекомоядных пичужек, вроде мухоловки, этой воздушной гимнастки. Однако они не вымерли: истребление насекомых не было доведено до такой крайней степени; было сохранено достаточно видов, чтобы сделать некоторые области планеты по-прежнему пригодными для обитания этих прелестных птичек.

Многие вредные сорняки в то же время были удобным источником сложных химических веществ, получать которые синтетическим путем было либо дорого, либо сложно, поэтому такие растения были в ограниченных количествах сохранены. Вообще растения и цветы гораздо легче поддаются гибридизации и другим внешним воздействиям, нежели животные, и поэтому в Утопии они сильно изменились. Земляне увидят сотни новых форм листвы и прелестных душистых цветов, о которых они не имеют ни малейшего представления. Путем отбора и особого ухода, как узнал мистер Барнстейпл, были выведены растения, вырабатывавшие новые и крайне ценные соки, смолы, эфиры, масла и другие полезные вещества.

Большие звери приручались и укрощались. Крупные хищники, вычесанные и вымытые, приученные к чисто молочной диете, забывшие былую злобность и превратившиеся, короче говоря, в ласковых кошек, стали в Утопии товарищами детских игр и украшением пейзажа.

Почти вымершие слоны теперь вновь стали размножаться, и Утопия спасла своих жирафов. Бурый медведь всегда был склонен к сладостям и вегетарианской пище, а, кроме того, его интеллект очень развился. Собаки перестали лаять и превратились в относительную редкость. Охотничьи породы и комнатные собачки перевелись вовсе.

Лошадей мистер Барнстейпл не видел в Утопии ни разу, но, будучи современным городским жителем, он попросту не заметил, что их нет, и не расспрашивал о них, пока находился там. Он так и не узнал, вымерли они или еще существуют.

Когда в первый день своего пребывания в этом мире он услышал о том, как человечество здесь меняло и переделывало, очищало и облагораживало царство природы, эта деятельность показалась ему вполне естественной и необходимой фазой человеческой истории.

«Что ни говори, – подумал он, – а миф о том, что первый человек был сотворен садовником, очень неглуп!»

И вот теперь человек очищал и облагораживал свою собственную породу...

Утопийцы рассказывали про зарождение енгеники, про новые и более точные способы отбора родителей, про все большую безошибочность науки о наследственности; и, сравнивая ясную, совершенную красоту лица и тела любого утопийца с негармоничными чертами и непропорциональным сложением своих собратьев-землян, мистер Барнстейпл понял, что, обогнав их всего на каких-нибудь три тысячи лет, утопийцы уже переставали быть людьми в привычном для него смысле и превращались в нечто более высокое и благородное. Их отличие от землян становилось уже видовым отличием.

3

Это был уже иной вид.

По мере того как продолжались вопросы, ответы и обмен мнениями, мистер Барнстейпл с все большей очевидностью убеждался, что телесные различия между ними были просто ничтожными по сравнению с различием в их духовном облике. Уже с рождения, наделенные большими умственными способностями, эти дети света росли в условиях, освобожденных от тех чудовищных противоречий, утаиваний, путаницы и невежества, которые калечат умы юных землян. Всем им была свойственна ясность мысли, откровенность и прямота. В них не развивалось то оборонительное недоверие к наставнику, то сопротивление воспитанию, которое является естественной реакцией на форму обучения, в значительной мере сводящуюся к насильственному навязыванию и подавлению. Они были изумительно доверчивы в своем общении с другими. Ирония, умалчивание, неискренность, хвастливость и искусственность земных разговоров были им незнакомы. Эта их духовная обнаженность показалась мистеру Барнстейплу столь же упоительной и бодрящей, как горный воздух, которым он дышал. Его поражали терпение и снисходительность, которые они проявляли в отношении столь неразвитых существ.

«Неразвитые» – именно это слово употребил он мысленно. И самым неразвитым он чувствовал себя. Он робел перед утопийцами, готов был заискивать и пресмыкаться перед ними, словно неотесанный земной мужлан, очутившийся в светской гостиной, и эта его приниженность вызывала в его душе горькое чувство стыда. Во всех других землянах, за исключением леди Стеллы и мистера Берли, чувствовалась злобная ощеренность людей, сознающих свою неполноценность и пытающихся подавить в себе это сознание.

Как и отец Эмертон, шофер мистера Берли был, по-видимому, возмущен и оскорблен наготой утопийцев; его негодование находило выражение в жестах, гримасах и саркастических замечаниях, вроде «Ну и ну!» или «Ишь ты!», с которыми он обращался к мистеру Барнстейплу, – владелец такого старого и маленького автомобиля внушал ему, очевидно, порядочное презрение, но в то же время казался почти своим. Он то и дело шурился, подымал брови и гримасничал, стараясь привлечь внимание мистера Барнстейпла к тем жестам или позам уто-

пийцев, которые представлялись ему примечательными. При других обстоятельствах его способ указывать с помощью губ и носа мог бы позабавить мистера Барнстейпла.

Леди Стелла, которая сначала показалась мистеру Барнстейплу истинной леди, в самом лучшем и современном смысле этого слова, теперь, насколько он мог судить, испытывала большую растерянность и маскировала ее подчеркнуто светской манерой держаться. Однако мистер Берли в значительной мере сохранил свой аристократизм. На Земле он всю жизнь был великим человеком и, очевидно, не видел причин, которые помешали бы ему остаться великим человеком и в Утопии. На Земле он почти ничего не делал, ограничиваясь высокоинтеллектуальным восприятием, и с самыми счастливыми результатами. Его острый, скептический ум, свободный от каких-либо убеждений, верований или революционных желаний помог ему чрезвычайно легко приспособиться к позе почетного гостя, который с доброжелательным, но ни к чему не обязывающим интересом знакомится с институтами чужого государства. Любезное «скажите мне» было его лейтмотивом на протяжении всей беседы.

Уже вечерело, и ясное утопийское небо горело закатным золотом, а курчавые башни облаков над озером меняли цвета, становясь из розовых темно-лиловыми, когда внимание мистера Барнстейпла внезапно привлек мистер Руперт Кэтскилл. Он нетерпеливо ерзал на своем сиденье.

– Я хочу кое-что сказать, – бормотал он, – Я хочу кое-что сказать.

Затем он вскочил и направился к центру полукружия, где ранее произносил свою речь мистер Берли.

– Мистер Серпентин! – сказал он, – Мистер Берли, я был бы рад высказать кое-какие соображения, если вы мне разрешите.

4

Мистер Кэтскилл снял с головы серый цилиндр, вернулся к своему месту и положил его на сиденье, а затем вновь направился к центру апсиды. Он откинул полы своего сюртука, упер руки в бедра, выставил вперед голову, несколько секунд обводил своих слушателей испытующим и вызывающим взглядом, что-то бормоча себе под нос, а затем начал говорить.

Его вступление не было особенно внушительным. Он страдал некоторым недостатком речи, чем-то вроде пришепетывания, и, стремясь его преодолеть, говорил гортанно. Первые несколько фраз вырвались у него как бы толчками. Затем мистер Барнстейпл понял, что мистер Кэтскилл излагает очень четкую точку зрения – по-своему обоснованную и стройную картину Утопии. Мистер Барнстейпл не был согласен с его критикой, она его глубоко возмутила. Но он не мог отрицать, что она логически вытекала из определенного образа мышления.

Мистер Кэтскилл начал с того, что полностью признал красоту и упорядоченность Утопии. Он похвалил «румянец здоровья», который он видит «на каждой щеке», похвалил изобилие, безмятежность и удобства утопийской жизни. Они здесь «укротили силы природы и полностью подчинили их себе во имя единственной цели – материального благополучия своего человечества».

– А как же Арден и Гринлейк? – пробормотал мистер Барнстейпл, но мистер Кэтскилл либо не расслышал его слов, либо не обратил на них внимания и продолжал:

– В первый момент, мистер спикер, – мистер Серпентин, хотел я сказать, – в первый момент все это производит на земной ум поистине ошеломляющее впечатление. Нужно ли удивляться, – тут он взглянул на мистера Берли и мистера Барнстейпла, – что восхищение совсем вскружило голову некоторым из нас? Нужно ли удивляться, что на какой-то срок почти колдовская красота вашей планеты настолько зачаровала нас, что мы забыли о многом, заложенном в самой нашей природе, – забыли сокровища в ней могущественную и таинственную жажду стремления, потребности и были готовы сказать: «Вот, наконец, страна блаженного

покая! Останемся же здесь, приспособимся к этому продуманному и упорядоченному великолепию, проведем здесь всю свою жизнь до самой смерти!» И я, мистер... э... мистер Серпентин, на время поддался этим чарам. Но только на время. Уже сейчас, сэр, меня начинают одолевать всяческие сомнения...

Его блестящий прямолинейный ум вцепился в тот факт, что каждый этап очищения Утопии от вредителей, паразитов и болезней сопровождался возможностью каких-то ограничений и утрат. Впрочем, точнее будет сказать, что этот факт вцепился в его ум. Он не хотел считаться с тем, что каждый шаг этого процесса надежного оздоровления мира и превращения его в безопасное поле человеческой деятельности рассчитывался с крайней осторожностью и предусмотрительностью. Он упрямо исходил из того, что каждое достижение сопровождалось потерями, сильно преувеличил эти потери, а затем умело подвел свою речь к неизбежной метафоре о младенце, которого выплескивают из ванны вместе с водой, – неизбежной, разумеется, для английского парламентского деятеля. Утопийцы, заявил он, ведут жизнь удивительно спокойную, легкую и – «если мне будет разрешено так выразиться – перенасыщенную удовольствиями». («Они же трудятся», – пробормотал мистер Барнстейпл.) Но вместе с тысячами опасностей и неудобств разве не исчезло из их жизни и нечто иное, великое и драгоценное? Жизнь на Земле, признал он, полна опасностей, боли и тревог, полна даже страданий, горестей и бед, но кроме того – а вернее, благодаря этому, – она включает в себя упоительные мгновения полного напряжения сил, надежд, радостных, неожиданных опасений и свершений, каких не может дать упорядоченная жизнь Утопии. «Вы покончили с противоречиями и нуждой. Но не покончили ли вы тем самым с живыми и трепещущими проявлениями жизни?»

Он разразился панегириком земной жизни. Он превозносил ее созидательную энергию, словно в окружающем его дивном великолепии не были заключены признаки самого высокого созидания. Он говорил о «громе наших перенаселенных городов», о «силе наших скученных миллионеров», о «приливной волне нашей коммерции, промышленности и войн», которые «накатываются и бушуют, сотрясая ульи и тихие гавани нашей расы».

Он умел облечь свои мысли в удачные фразы с той искрой фантазии, которая сходит за красноречие. Мистер Барнстейпл уже не замечал легкого пришепечивания, не замечал гортанности его голоса. Мистер Кэтскилл смело указал на земные опасности и беды, о которых умолчал мистер Берли. То, что говорил мистер Берли, было правдой. То, что он сказал, далеко не исчерпывало всей правды. Да, мы знаем голод и смертоносные эпидемии. Мы становимся жертвами тысяч болезней, о которых Утопия давно забыла. Мы страдаем от тысяч бедствий которые в Утопии известны только из древних легенд. Крысы грызут, мухи летом не дают покоя, сводят с ума. Порой жизнь бывает зловонной. Я признаю это, сэр, я это признаю. Вам неведомы наши бездны бедствий и печали, тревог, телесных и душевных страданий, горечи, ужаса и отчаяния. О да! Но доступны ли вам наши высоты? Ответьте мне на это! Что можете вы знать в нерушимой своей безопасности о напряжении всех сил, об отчаянном, подстегиваемом ужасом напряжении, которое порождает многие из наших свершений? Что можете вы знать о передышках, светлых промежутках, избавлении? Подумайте, какие глубины нашего счастья вовсе вам не доступны! Что вы знаете здесь о сладостных днях выздоровления после тяжелой болезни? О радости, которую дарит возможность уехать и отдохнуть от окружающего тебя убожества? О торжестве после благополучного завершения какого-нибудь рискованного предприятия, когда на карту была поставлена твоя жизнь или все состояние? О выигрыше безнадежного пари? Об освобождении из тюрьмы? И ведь известно, сэр, что в нашем мире есть люди, находящие упоение в самом страдании. Да, именно потому, сэр, что наша жизнь несравненно ужаснее вашей, в ней есть и должны быть такие светлые мгновения, каких вы не можете знать. Там, где у нас титаническая борьба, у вас – всего лишь упорядоченная рутина. И мы воспитаны этой борьбой, закалены в ней. Наша сталь несравненно тверже и острее вашей. Вот об этом-то я и хотел сказать. Предложите нам отказаться от нашего земного хаоса, от наших горестей и бед,

от нашей высокой смертности и наших мучительных болезней, и на первое такое предложение каждый человек нашего мира ответит: «Да! От всего сердца – да!» Но на первое такое предложение, сэр.

На мгновение мистер Кэтскилл умолк, указуя перстом на своих слушателей.

– Но затем мы задумаемся. Мы спросим, как, по вашим словам, спрашивали ваши естествоиспытатели про ваших мух и подобную им докучливую мелочь, – мы спросим: «Что должно исчезнуть вместе со всем этим? Какова цена?» И когда мы узнаем, что за это придется заплатить отказом от той напряженности жизни, той бурной энергии, той рожденной в горниле опыта и бед закаленности, того крысиного, волчьего упорства, которым одаряет нас наша вечная борьба, когда мы узнаем это, наша решимость поколеблется. Да, она поколеблется. И, в конце концов, сэр, я верю, я надеюсь и верю, молюсь и верю, что мы ответим: «Нет!» Мы ответим: «Нет!»

К этому времени мистер Кэтскилл впал в настоящий экстаз. Он все чаще выбрасывал вперед сжатый кулак. Его голос становился то звонким, то тихим, то начинал греметь. Он раскачивался, поглядывал на своих собратьев-землян, ожидая их одобрения, посылал мимолетные улыбки мистеру Берли.

Он сам уже совершенно уверовал, будто наш жалкий, раздираемый сварами, бесхребетный, подчиненный случайностям мир на самом деле представляет собой стройную систему яростной и могучей борьбы, рядом с которой меркнет вечерняя благодать завершенной и иссякшей Утопии.

– Никогда еще, сэр, я так ясно и отчетливо не понимал высокие, грозные, исполненные благородного риска судьбы нашей земной расы. Я смотрю на вашу страну безмятежного золотого покоя, на эту страну, доведенную до божественного совершенства, из которой изгнано самое понятие противоречий и столкновений...

Мистер Барнстейпл заметил легкую улыбку на губах женщины, похожей на Дельфийскую Сивиллу.

– ...и я признаю и хвалю ее порядок и красоту – так запыленный паломник, неутомимо стремящийся к высокой и таинственной цели, может замедлить шаг, чтобы полюбоваться порядком и красотой ухоженного сада какого-нибудь богатого сибарита. И, как этот паломник, сэр, я беру на себя смелость усомниться в мудрости вашего образа жизни. Ибо я считаю, сэр, доказанным, что жизнь и вся ее энергия и красота порождены борьбой, конкуренцией, противоречиями и столкновениями; нас формирует и закаляет нужда, как когда-то она формировала и закаляла и вас, сэр. И все же вы здесь убаюкиваете себя уверенностью, что навсегда уничтожили самую возможность противоречий и столкновений. Ваша экономическая система, насколько я могу судить, является какой-то разновидностью социализма; вы уничтожили конкуренцию во всех отраслях мирного труда. Ваша политическая система представляет собой всемирное единство, и из вашего мира полностью исчезла подстегивающая и облагораживающая угроза войны, исчез ее устрашающий и очищающий пожар. Все продумано, все обеспечено. Воцарилось полное благополучие. Полное благополучие, сэр, если не считать одного... Мне неприятно тревожить вас, сэр, но я должен назвать вслух то, о чем вы забыли, – дегенерация! Что здесь может воспрепятствовать дегенерации? Чем вы препятствуете дегенерации? Как теперь наказуется лень? Как вознаграждается исключительная энергия и деятельность? Что может поддерживать в людях трудолюбие и что может поддерживать в них бдительность, когда наглядность личных опасностей, личных потерь исчезла и остается только отвлеченная мысль о возможном вреде для всего общества? В течение некоторого времени вы сможете держаться на своеобразной инерции. Сможете поддерживать видимость успеха. Я признаю, на первый взгляд может показаться, что вы действительно добились прочного успеха. Осеннее золото! Великолепие заката! А рядом с вами во вселенных, параллельных вашей, параллель-

ные расы все еще трудятся, все еще страдают, все еще конкурируют и через гибель слабых накапливают силу и энергию!

Мистер Кэтскилл торжествующе взмахнул рукой перед лицами утопийцев.

– Мне не хотелось бы, сэр, чтобы у вас создалось впечатление, будто эта критика вашего мира продиктована враждебностью к нему. О нет, она порождена самыми дружескими чувствами и желанием помочь. Я черпал на вашем пиру, но дружески настроенный и смущенный черпал. Я задаю тревожные и неприятные вопросы потому, что это мой долг. Действительно ли вами выбран правильный путь? У вас есть красота, и свет, и досуг. Согласен. Но раз существует это множество вселенных, о которых вы, мистер Серпентин, рассказали нам так понятно и исчерпывающе, и раз одна из них может внезапно открыться в другую, как наша открылась в вашу, то, спрошу я вас со всей серьезностью, действительно ли ничто не угрожает вашей красоте, вашему свету и вашему досугу? Вот мы разговариваем здесь, а от бесчисленных миров нас отделяет лишь тонкая преграда – мы даже не знаем, насколько тонкая. И при этой мысли, сэр, мне, стоящему здесь, среди безграничного золотого покоя вашей планеты, мне кажется, что я уже слышу топот голодных мириад, столь же яростных и столь же упорных, как крысы и волки, слышу рычание рас, закаленных в боли и жестокости, – слышу угрозу беспощадного героизма и безжалостной агрессии...

Он внезапно оборвал свою речь. Он чуть-чуть улыбнулся, мистеру Барнстейплу показалось, что он уже торжествует победу над Утопией. Он стоял, уперев руки в бока, и, словно согнув руками свой торс, вдруг угловато поклонился.

– Сэр, – сказал он с еле заметным пришепетыванием, устремив глаза на мистера Берли. – Я сказал все, что имел сказать.

Он повернулся и несколько мгновений смотрел на мистера Барнстейпла, сморщив лицо так, что казалось, будто он вот-вот подмигнет. Затем дернул головой, словно забивая затылком гвоздь, и вернулся на свое место.

5

Эрфред продолжал сидеть, опираясь локтем на колено и положив подбородок на ладонь. Он не столько отвечал мистеру Кэтскиллу, сколько рассуждал сам с собой.

– Энергия грызущей крысы, жадная настойчивость волка, механическое упорство ос, мух и болезнетворных микробов исчезли из нашего мира. Это верно. Мы уничтожили многие силы, пожиравшие жизнь. И при этом не потеряли ничего, о чем стоило бы жалеть. Боль, грязь, унижение как для нас самих, так и для любого другого существа уже исчезли без следа или же скоро исчезнут. Но неверно, что из нашего мира исчезло соревнование. Почему он утверждает это? Все наши мужчины и женщины работают в полную силу – ради общего блага и личной славы. Никому не дано освободить себя от труда и обязанностей, как освобождались от них люди в век хаоса, когда бесчестные и жадные жили и размножались в роскоши, пользуясь нерасчетливостью более благородных натур. Почему он утверждает, что мы дегенерируем? Ему ведь уже все объяснили. Для ленивых и малоспособных у нас нет питательной почвы. И почему он грозит нам воображаемыми вторжениями из других, более жестоких, более варварских миров? Ведь это мы по желанию можем открыть дверь в другую вселенную или опять ее захлопнуть. Ибо мы обладаем знанием. Мы можем пойти к ним – и когда мы будем знать достаточно, то так и поступим, – но они не могут прийти к нам. Только знание устраняет перегородки, разделяющие жизнь... Чем болен разум этого человека? Его собратья-земляне стоят еще только у самых начатков знания. С практической точки зрения они еще находятся на том этапе страха и религиозных запретов, который пережила и Утопия, прежде чем наступил век уверенности в себе и понимания. Именно этот этап и преодолевал наш мир в Последнем Веке Хаоса. Сознание этих землян изуродовано страхами и запретами, и, хотя они уже смутно чувствуют, что

могут управлять своей вселенной, такая мысль слишком ужасна, чтобы они решились в нее поверить. Они чураются ее. Они по-прежнему хотят верить, как верили их отцы, что кто-то управляет их вселенной, и управляет лучше, чем способны это делать они сами. Ведь в таком случае они получают свободу любыми средствами добиваться своих мелких, своекорыстных целей. Предоставьте мир на усмотрение бога, вопят они, или на усмотрение конкуренции.

– Мы предпочитаем для этого словечко «эволюция», – заметил мистер Барнстейпл, глубоко заинтересованный его речью.

– Это одно и то же: бог ли, эволюция ли, – какое это имеет значение, если в любом случае вы подразумеваете силу, более могущественную, чем вы сами, оправдывая тем самым свое нежелание исполнять лежащий на вас долг.

Утопия говорит: «Не предоставляйте мир самому себе. Подчиняйте его». Но эти земляне все еще не умеют видеть действительность такой, какова она есть. Вон тот человек в белом полотняном ошейнике боится даже смотреть на мужчин и женщин в их естественном виде. Его охватывает гнусное возбуждение при взгляде на самое обыкновенное человеческое тело. Вот тот человек с оптической линзой в левом глазу изо всех сил внушает себе, что за внешним миром таится мудрая Мать Природа, сохраняющая его в равновесии. Что может быть нелепее его Равновесия Природы? Неужели, имея глаза и оптическую линзу, он совсем слеп? А тот, кто говорил последним, и говорил с таким жаром, считает, что эта же самая Старуха Природа становится неисчерпаемым источником воли и энергии, стоит нам только подчиниться ее капризам и жестокостям, стоит нам начать подражать самым диким ее выходкам и угнетать, убивать, обворовывать и насиловать друг друга... Кроме того, он проповедует древний фатализм, считая его научной истиной... Эти земляне боятся увидеть, какова на самом деле наша Мать Природа. В глубине их душ еще живет желание отдаться на ее милость. Они не понимают, что она слепа и лишена воли если отнять у нее наши глаза и нашу целеустремленность. Она не исполнена грозного величия, она отвратительна. Она не признает наших понятий о совершенстве – да и вообще никаких наших понятий. Она сотворила нас случайно. Все ее дети – незаконнорожденные, которых она не хотела и не ждала. Она лелеет их или бросает без ухода, ласкает, морит голодом или мучает без всякого смысла или причины. Она ничего не замечает. Ей все равно. Она может вознести нас на вершины разума и силы или унижить до жалкой слабости кролика или белой слизистой мерзости десятков тысяч изобретенных ею паразитов. В ней, безусловно, есть что-то хорошее, поскольку всем, что есть хорошего в нас, мы обязаны ей, но она исполнена и безграничного зла. Неужели вы, земляне, не видите ее грязи, жестокости и бессмысленной гнусности многих ее творений?

– Ого! Это, пожалуй, похуже, чем «Природа с окровавленными когтями и клыками»! – пробормотал мистер Фредди Маш.

– Все это очевидно, – размышлял Эрфред. – Если бы только они не боялись взглянуть в лицо правде! Когда мы впервые взяли за эту старую ведьму, нашу Матерь, на нашей планете многие живые организмы, даже более половины всех живых видов, тоже были безобразны или вредоносны, бессмысленны, несчастны, замучены всяческими сложными болезнями и до жалости не приспособлены к постоянно меняющимся условиям Природы. После долгих столетий борьбы мы сумели подавить ее наиболее отвратительные фантазии, умыли ее, причесали и научили уважать и почитать последнее дитя ее распутства – Человека. С Человеком в мир вошел Логос – Слово и Воля, чтобы наблюдать вселенную, страшиться ее, познавать и утрачивать страх, чтобы постичь ее, осмыслить и покорить. И вот теперь мы люди Утопии, уже перестали быть забитыми, голодными детьми Природы – мы теперь ее свободные и взрослые сыновья. Мы взяли на себя управление именем нашей родительницы. Каждый день мы добиваемся все новой власти над нашей маленькой планетой. Каждый день наши мысли с все большей уверенностью устремляются к нашему наследию – к звездам. И к безднам за звездами и под ними.

– Вы уже достигли звезд? – воскликнул мистер Барнстейпл.

– Пока еще нет. Мы не побывали даже на соседних планетах. Но уже близко время, когда эти колоссальные расстояния станут доступными для нас... – Он помолчал. – Многим из нас придется отправиться в глубины пространства... Чтобы никогда не вернуться... Отдать жизнь... И в эти непознанные пространства бесчисленные мужественные люди...

Эрфред повернулся к мистеру Кэтскиллу и обратился прямо к нему:

– Ваши откровенно изложенные мысли показались нам наиболее интересными из всего, что мы слышали сегодня. Они помогут нам яснее понять прошлое нашего собственного мира. Они помогут нам разрешить важнейшую проблему, о которой мы сейчас вам расскажем. В нашей древней литературе двух-трехтысячелетней давности содержатся мысли и идеи, подобные вашим, – та же самая проповедь своекорыстного насилия как некоей добродетели. Однако даже тогда умные люди понимали всю ее ошибочность, как могли бы понять и вы, если бы не цеплялись упрямо за неверные взгляды. Но ваша манера держаться и говорить ясно показывает, что, произвольно признав что-либо истиной, вы будете настаивать на ней вопреки очевидности. Вы должны признать, что ваша внешность не слишком красива, и, возможно, ваши удовольствия и самая манера жить также не очень красивы. Но вы наделены бурной энергией, и естественно, что вы любите волнения, связанные с риском, что лучшим даром жизни вы считаете ощущение борьбы и победы над противником. Кроме того, экономический хаос мира, подобного вашему, означает необходимость бесконечного и тяжелого труда – причем труда настолько неприятного, что всякий не совсем бесхарактерный человек старается, насколько возможно, избавиться от него и требует для себя исключения, ссылаясь на благородство происхождения, заслуги или богатство. Люди вашего мира, несомненно, легко внушают себе, что они имеют полное право на подобную привилегию, – это внушили себе и вы. Вы живете в классовом мире. Вашему плохо тренированному уму не пришлось самому отыскивать оправдания вашему привилегированному положению: класс, в котором вы родились, давно приготовил их для вас. И поэтому вы без малейших угрызений совести забираете себе все самое лучшее и пускаетесь во всевозможные рискованные авантюры, в основном за счет чужих жизней, причем ваше сознание, сформированное окружающей его средой, упорно отказывается допустить даже мысль о возможности обеспеченного и упорядоченного и в то же время деятельного и счастливого человеческого общества. Вы всю свою жизнь боролись против такой идеи, словно видели в ней своего личного врага. Она и была вашим личным врагом: она безоговорочно осуждает ваш образ жизни, она лишает ваши авантюры какого-либо оправдания. И теперь, своими глазами увидев прекрасную жизнь, сотворенную сознательно и последовательно, вы по-прежнему сопротивляетесь; вы сопротивляетесь, чтобы не впасть в отчаяние; вы пытаетесь доказать, что наш мир неромантичен, лишен деятельной энергии, упадочен, слаб. Ну... что касается вопроса о физической силе, пожмите руку юноши, который сидит рядом с вами.

Мистер Кэтскилл взглянул на протянутую ему руку и покачал головой с видом человека, которого не проведешь.

– Нет, лучше я послушаю вас, – сказал он.

– И все же, когда я говорю вам, что и наша воля и наши тела гораздо сильнее ваших, ваше сознание упрямо сопротивляется этому. Вы не хотите этому верить. Если на мгновение ваше сознание и признает это, оно тут же прячется за систему взглядов, предназначенную для защиты вашего самоуважения. Только один из вас приемлет наш мир, но и это объясняется тем, что его отталкивает ваш мир, а не тем, что его влечет наш. Я прихожу к заключению, что это неизбежно. Ваше сознание – это сознание Века Хаоса, воспитанное на противоречиях, на неуверенности в завтрашнем дне и на тайном своекорыстии. Так Природа и ваше государство научили вас жить, и так вы будете жить до самой смерти. Такие уроки могут быть забыты только через сто поколений, после трех тысячелетий правильного воспитания. И нас смущает вопрос: что с вами делать? Если вы будете уважать наши законы и обычаи, мы постараемся сделать для вас все, что в наших силах. Но мы понимаем, что это будет нелегко. Вы даже не

представляете себе, насколько трудно будет вам преодолеть ваши привычки и предубеждения. Вы, здесь присутствующие, до сих пор вели себя очень разумно и корректно – если не в мыслях, то, по крайней мере, в поступках. Но сегодня нам пришлось узнать землян и с другой стороны – знакомство это было гораздо более трагичным. Ваше предсказание о вторжении к нам более жестоких и варварских миров уже сегодня нашло гротескное воплощение в реальности. Это правда: в людях Земли есть что-то хищное, крысиное и опасное. Вы не единственные земляне, проникшие в Утопию через дверь, которая на мгновение распахнулась сегодня. И другие тоже...

– Ну, конечно же! – воскликнул мистер Барнстейпл. – И как это я раньше не догадался? Третий экипаж!

– В Утопию попала еще одна из этих ваших странных самодвижущихся машин.

– Серый автомобиль! – сказал мистер Барнстейпл мистеру Берли. – Он был впереди вас ярдов на сто, не больше.

– Стался обойти нас от самого Хайнслоу, – заметил шофер мистера Берли, – Машина – зверь!

Мистер Берли повернулся к мистеру Фредди Машу.

– Кажется, вы тогда узнали кого-то из пассажиров этого автомобиля?

– Я уверен, что видел лорда Барралонга, сэр, и, по-моему, мисс Гриту Грей.

– Там были еще двое, – добавил мистер Барнстейпл.

– Они осложнят положение, – заметил мистер Берли.

– Они его уже осложнили, – сказал Эрфред. – Они убили человека.

– Утопийца?

– Эти другие земляне – их пятеро, – чьи имена вы, по-видимому, знаете, попали в Утопию перед вашими двумя экипажами. Вместо того, чтобы остановиться, как сделали вы, оказавшись на незнакомой странной дороге, они, насколько можно судить, значительно увеличили скорость своего передвижения. Они обогнали нескольких прохожих, нелепо размахивая руками и издавая отвратительные звуки с помощью инструмента, специально для этого предназначенного. Затем на дорогу перед ними вышел серебристый гепард – они повернули прямо на него, переехали его и сломали ему позвоночник. И даже не задержались, чтобы поглядеть, что с ним случилось. Юноша, по имени Золото, выбежал на дорогу попросить их остановиться, но их машина сконструирована удивительно нелепо: она крайне сложна и нерациональна. Оказалось, что она не способна остановиться сразу. Она не обладает единым, полностью контролируемым двигателем. Она работает на каком-то сложном внутреннем противоречии, и экипаж двигается вперед с помощью громоздкой зубчатой передачи на оси задних колес, на которых, как и на передних, расположены неуклюжие останавливающие устройства, основанные на принципе трения. По-видимому, можно, развив на этой машине предельную скорость, тут же заклинить колеса, чтобы помешать им вращаться. Когда юноша встал перед ними на дороге, они не были в состоянии остановиться. Возможно, они пытались это сделать. Так они, во всяком случае, утверждают. Их машина сделала опасный рывок в сторону и ударила его боком.

– И убила его?

– На месте. Его труп был страшно изуродован... Но даже это их не остановило. Они уменьшили скорость и начали торопливо совещаться, однако, заметив, что к дороге сбегаются люди, они вновь рванулись вперед и скрылись. По-видимому, ими овладела паника, страх перед лишением свободы и наказанием. Мотивы их поступков разгадать очень трудно. Как бы то ни было, они поехали дальше. Несколько часов они ехали все вперед и вперед, не останавливаясь. Один аэроплан был немедленно послан следовать за ними, а другой – расчищать им дорогу. Это было очень трудно, так как ни наши люди, ни наши животные не привыкли к подобным экипажам... и к подобному поведению. К середине дня они оказались в горах, и, по-видимому, наши дороги были слишком скользкими и трудными для их машины. Она испускала странные

звуки, словно лязгала зубами, и за ней тянулся синий парок с отвратительным запахом. На одном из поворотов, где ей следовало резко замедлить ход, она заскользила, пошла боком, сорвалась с обрыва и с высоты примерно в два человеческих роста упала в горный поток.

– И они были убиты? – спросил мистер Берли с некоторым облегчением, как показалось мистеру Барнстейплу.

– Все остались в живых.

– А-а! – протянул мистер Берли. – Ну и что же было потом?

– Один из них сломал руку, а другой разбил лицо. Двое остальных мужчин и женщина остались целы, если не считать нервного шока. Когда наши люди подошли к ним, четверо мужчин подняли руки над головой. По-видимому, они опасались, что их убьют тут же на месте, и таким образом просили пощады.

– И как вы с ними поступили?

– Мы намерены доставить их сюда. Нам кажется, будет лучше, если вы, земляне, будете находиться в одном месте. В данный момент мы не представляем, что с вами делать. Мы многое хотим узнать от вас и хотели бы относиться к вам по-дружески, если это окажется возможным. Выдвигалось предложение вернуть вас в ваш мир. В конечном счете, это, пожалуй, наилучший выход. Но в настоящее время мы знаем еще слишком мало, чтобы осуществить это без всякого риска. Арден и Гринлейк, предпринимая попытку повернуть часть нашей материи в измерении F, предполагали, что она пройдет через пустое пространство. То, что вы оказались там и были увлечены в нашу вселенную, – это самое невероятное происшествие, какое только случилось в Утопии за многие тысячелетия.

Глава седьмая

ПРИБЫТИЕ КОМПАНИИ ЛОРДА БАРРАЛОНГА

1

На этом беседа закончилась, но лорд Барралонг и его спутники были доставлены в Сады Совещаний, только когда уже давно стемнело. Все это время наши земляне могли ходить, куда им угодно, и делать, что им заблагорассудится, без всяких помех. Мистер Берли в обществе леди Стеллы и психолога, которого звали Лев, направился к озеру, задавая вопросы и отвечая на вопросы утопийца. Шофер мистера Берли с унылым видом бродил неподалеку по дорожкам, не выпуская из виду своего хозяина. Мистер Руперт Кэтскилл удалился с мистером Машем, держа его под руку, словно желая дать ему кое-какие инструкции.

Мистеру Барнстейплу хотелось погулять в одиночестве, чтобы припомнить и хорошенько обдумать все удивительные откровения этого дня, а также чтобы свыкнуться с этим удивительно прекрасным миром – таким прекрасным и таким таинственным, теперь, в сумерках, когда его деревья и цветы превращались в смутные и бесформенные переливы более прозрачного и более густого мрака, а четкие и стройные очертания его зданий растворялись в надвигающейся тьме.

Его слишком земные спутники стояли между ним и этим миром – если бы не они, казалось ему, он был бы принят здесь как свой. А пока он в этом мире только непрощенный и неуместный пришелец. И все же он уже любил его, тянулся к нему и страстно желал стать его частью. Ему все время чудилось, что если только он сумеет ускользнуть от своих спутников, если только он каким-то образом сумеет освободиться от своего земного одеяния и от всего того, что было в нем от Земли и связывало его с Землей, то через самый этот акт освобождения он станет для Утопии родным, и тогда его перестанет томить эта щемящая тоска, это гнетущее ощущение неприкаянности. Он внезапно преобразился в подлинного утопийца, и Земля, а не

Утопия станет невероятным сном, который постепенно изгладится из его памяти и будет забыт навсегда.

Однако потребность отца Эмертона в слушателе на некоторое время сделала невозможным подобное отрешение от земных мыслей и предметов. Священник ни на шаг не отходил от мистера Барнстейпла, оглушая его непрерывным потоком вопросов и рассуждений, придававших утопийскому саду странное сходство с выставкой в Эрлкорте, которую они вместе осматривают и которая им обоим не нравится. Для него все это было, очевидно, настолько условным и нереальным, что, как казалось мистеру Барнстейплу, он нисколько не удивился бы, если бы через какую-нибудь щель до них вдруг донесся шум Эрлкортской железнодорожной станции и за кустом блеснул готический шпиль церкви Святого Варнавы.

Вначале мысли отца Эмертона были в основном поглощены тем фактом, что на следующий день им обещали «заняться» из-за его выходки во время беседы.

– Как это они могут мной заняться? – спросил он в четвертый раз.

– Прошу прощения? – отозвался мистер Барнстейпл.

На каждый вопрос отца Эмертона мистер Барнстейпл упорно отзывался этой фразой, желая показать священнику, что он мешает ему думать. Но каждый раз, когда мистер Барнстейпл говорил свое «прошу прощения», отец Эмертон только рассеянно советовал: «Вам следовало бы обратиться к специалисту, чтобы проверить слух», – и продолжал свою тираду.

– Как мной могут заняться? – осведомился он у мистера Барнстейпла и окружающей мглы. – Как это мной могут заняться?

– Ну, вероятно, с помощью чего-нибудь вроде психоанализа, – сказал мистер Барнстейпл.

– Чтобы играть в эту игру, нужны двое! – возразил отец Эмертон, но в его тоне мистеру Барнстейплу послышалось облегчение. – О чем бы они меня ни спрашивали, что бы они мне ни внушали, я не отступлю, я буду свидетельствовать...

– Не сомневаюсь, что им будет нелегко подавить ваше красноречие, – с горечью заметил мистер Барнстейпл.

Некоторое время они в молчании прогуливались среди высоких душистых кустов, усыпанных белыми цветами. Мистер Барнстейпл то убыстрял шаги, то замедлял их в надежде незаметно удалиться от отца Эмертона, но тот машинально следовал его примеру.

– Свальный грех, – вскоре вновь заговорил он. – Какое другое слово могли бы вы употребить?

– Прошу прощения, – почти огрызнулся мистер Барнстейпл.

– Какое другое слово мог бы я употребить вместо «свальный»? Чего еще можно ожидать от людей, разгуливающих в столь поразительно скудных костюмах, кроме нравов обезьянника? Они не отрицают, что у них практически не существует института брака.

– Это же другой мир, – с раздражением ответил мистер Барнстейпл. – Совсем другой мир.

– Законы нравственности обязательны для любого возможного мира.

– Даже для мира, где люди размножались бы почкованием и где не существовало бы полов?

– Требования нравственности были бы там проще, но суть их осталась бы прежней...

Вскоре мистер Барнстейпл вновь привычно попросил прощения.

– Я сказал, что это погибший мир.

– Он не похож на погибший, – возразил мистер Барнстейпл.

– Он отверг и забыл принесенное ему Спасение.

Мистер Барнстейпл сунул руки в карманы и начал тихонько насвистывать баркаролу из «Сказок Гофмана».

Неужели отец Эмертон так и не оставит его в покое? Неужели нет способа избавиться от отца Эмертона? На выставках в Эрлкорте имелись проволочные корзины для бумажек, окур-

ков и другого ненужного мусора. Вот если бы можно было запихнуть отца Эмертона в такое полезное приспособление!

– Им было даровано Спасение, а они его отвергли и почти забыли. Вот потому-то мы и были ниспосланы к ним. Мы были посланы к ним, чтобы напомнить им о Единственной Истинно Важной Вещи, о Единственной Забытой Вещи. Вновь надлежит нам воздвигнуть целительный символ, как Моисей воздвиг его в пустыне. И долг, возложенный на нас, нелегок. Мы были посланы в этот ад чувственного материализма...

– О господи! – простонал мистер Барнстейпл и вновь принялся насвистывать баркаролу... – Прошу прощения! – вскоре воскликнул он вновь.

– Где Полярная звезда? Что случилось с Большой Медведицей?

Мистер Барнстейпл взглянул на небо.

Он как-то не задумывался о здешних звездах и, подминая голову, был готов увидеть в этой новой вселенной самые непривычные созвездия. Однако как сама планета, как жизнь на ней, так и они оказались сходными с земными, и мистер Барнстейпл увидел над собой давно знакомые звездные узоры. Но точно так же, как утопийский мир все же не был абсолютно параллелен земному, так и эти созвездия были словно немного искажены. Орион, решил мистер Барнстейпл, расплзался вширь, и с одного его края виднелась огромная незнакомая туманность, а Большая Медведица действительно расплющилась и вместо Полярной звезды указывала на темный провал в небесах.

– Их Полярная звезда исчезла! Большая Медведица перекосилась! В этом заложен глубочайший символический смысл, – сказал отец Эмертон.

Да, в этом, несомненно, можно было усмотреть глубочайшую символику: мистер Барнстейпл понял, что отец Эмертон вот-вот разразится новым ураганом красноречия. Он почувствовал, что пойдет на все, лишь бы избавиться от этой чумы.

2

На Земле мистер Барнстейпл всегда был безропотной жертвой всевозможных докучных собеседников, так как деликатность заставляла его всячески считаться с умственной ограниченностью, лежавшей в основе их бесцеремонной навязчивости. Но вольный воздух Утопии уже ударил ему в голову и освободил стремления, которые его укоренившаяся привычка в первую очередь считаться с другими до сих пор держала в железной узде. Он был по горло сыт отцом Эмертоном; отца Эмертона нужно было отпугнуть, и он приступил к этой операции с прямолинейностью, которая удивила его самого.

– Отец Эмертон, – сказал он, – я должен сделать вам одно признание.

– О! – воскликнул отец Эмертон. – Пожалуйста... я к вашим услугам.

– Вы прогуливались со мной и кричали у меня над ухом столько времени, что я испытываю сильнейшее желание убить вас.

– Если мои слова попали в цель...

– Они не попали в цель. Они сливались в утомительный, бессмысленный, оглушительный шум. Я невыразимо от него устал. Он мешает мне сосредоточить внимание на окружающих нас чудесах. Мне не надо объяснять, какой символический смысл вы вкладываете в то, что здесь нет Полярной звезды. Вам незачем продолжать: этот символ напрашивается сам собой, но это натянутый и абсолютно неверный символ. Однако вы принадлежите к числу тех упрямых душ, которые вопреки очевидности верят в то, что вечные горы действительно вечны, а неизменные звезды останутся неизменными во веки веков. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько мне чужда и противна вся эта ваша ерунда. Право, в вас воплотилось все неверное, безобразное и невозможное, что только существует в католической религии. Я согласен с утопийцами: в вашем восприятии пола есть что-то болезненное – вероятно, какое-то неприятное впечатление вашего

детства оставило уродливый след в вашем сознании – и все ваши непрерывные утверждения и намеки на якобы царящий здесь разврат возмутительны и гнусны. И точно такое же отвращение, злость и досаду вызываете вы у меня, когда начинаете рассуждать о религии как таковой. В ваших устах она превращается в мерзость, как превращается в мерзость плотская любовь. Вы грязный ханжа. То, что вы зовете христианством, – не более, как темное и уродливое суеверие, всего лишь предлог для мракобесия и гонений. Это надругательство над Христом. И если вы христианин, то я со всей страстью заявляю, что я не христианин. Но христианство имеет и другие истолкования, кроме того, которое навязываете ему вы, и в определенном смысле эта Утопия – лучшее воплощение его заветов. И абсолютно недоступное вашему пониманию. Мы попали в этот великолепный мир, который по сравнению с нашим – то же, что хрустальная ваза по сравнению с ржавой жестянкой, и у вас хватает наглого бесстыдства утверждать, будто мы посланы сюда в качестве миссионеров, чтобы учить их бог знает чему!

– Да, бог знает, чему, – ответил несколько растерявшийся отец Эмертон, с честью выходя из положения.

– А... Э... – и, поперхнувшись, мистер Барнстейпл на несколько секунд онемел.

– Прислушайтесь к моим словам, друг мой! – возопил отец Эмертон, вцепляясь в его рукав.

– Ни за что на свете! – воскликнул мистер Барнстейпл, отшатываясь. – Поглядите! Вон там, на берегу озера, видны темные фигуры. Это мистер Берли, мистер Маш и леди Стелла. Они привезли вас сюда. Они для вас свои, и вы для них свой. Если бы ваше общество было для них нежелательно, вы не ехали бы в их автомобиле. Идите к ним. Я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Я отвергаю вас и не желаю иметь с вами ничего общего. Вот ваша дорога. А эта – в сторону беседки – моя. Не смейте идти за мной, или я прибегну к физическому воздействию, и утопийцам придется нас разнимать... Простите мою откровенность, мистер Эмертон. Но уйдите от меня! Уйдите!

Мистер Барнстейпл повернулся и, заметив, что отец Эмертон поглядывает на разветвление дорожек весьма нерешительно, опрометью кинулся бежать.

Он пробежал по аллее, окаймленной высокой живой изгородью, свернул вправо, а потом влево, миновал изогнутый мостик над водопадом, обдавшем брызгами его лицо, нарушил уединение двух пар влюбленных, нежно шептавшихся во мраке, помчался зигзагами по цветочному газону и наконец, устало опустился на ступени лестницы, поднимавшейся к террасе, откуда открывался вид на озеро и горы, а вдоль балюстрады тянулся ряд каменных статуй, изображавших, насколько можно было судить в смутном свете, сидящих животных и людей, которые настороженно чего-то ждут.

– О милосердные звезды! – воскликнул мистер Барнстейпл. – Наконец-то я один!

Он долго сидел на ступенях, устремив взгляд на озеро и упиваясь сознанием, что хотя бы на краткий промежуток времени он и Утопия оказались лицом к лицу и между ними не стоит ничто земное.

3

Он не мог назвать этот мир миром своих грез, ибо никогда не осмеливался даже грезить о мире, который с такой точностью соответствовал бы самым заветным его желаниям и мечтам. Но, тем не менее, образ именно этого мира – или, во всяком случае, его точного подобия – стоял за мыслями и мечтами тысяч разумных, охваченных тревогой людей в мире хаоса и противоречий, из которого он попал сюда. Нет, Утопия не была местом застывшего покоя, безмятежного пресыщения, золотого декаданса, как пытался изобразить ее мистер Кэтскилл; мистер Барнстейпл видел, что этот мир был миром воинствующей энергии, побеждающей и стремящейся к победам, подчиняющей себе упрямые силы природы и самую материю, поко-

ряющей безжизненные пустыни межзвездных пространств, торжествующей над всеми враждебными тайнами бытия.

В далеком прошлом Утопии, заслоняемые внешне блестящей, но пустопорожней возней политиканов вроде Берли или Кэтскилла и бешеной конкуренцией торгашей и эксплуататоров, во всех отношениях столь же гнусных и пошлых в своих устремлениях, как и их земные собратья, в этой Утопии без устали трудились незаметные и терпеливые мыслители и наставники, закладывая основы этой теперешней напряженной и благотворной деятельности. И как мало этих пионеров было вознаграждено хотя бы минутным провидением неизреченной прелести справедливого мира, который без них не возник бы!

Но даже и в дни Хаоса, во мраке ненависти, смятения и бед должно было существовать достаточно свидетельств прекрасных и благородных возможностей, которые таила в себе жизнь. Над самыми отвратительными трупобами сиял солнечный закат, взывая к людскому воображению, и снежные вершины, просторы долин, горные утесы и ущелья, вечно меняющееся грозное величие морей хоть на миг открывали людям великолепие вполне достижимого бытия. Каждый цветочный лепесток, каждый пронизанный солнцем лист, жизнерадостность юности, мгновения счастья, претворенные человеческим духом в произведения искусства, – все это должно было стать пищей для надежды, призывом к подвигу. И вот, наконец, этот мир!

Мистер Барнстейпл молитвенно простер руки к мириадам ласковых звезд над его головой.

– Мне было дано увидеть! – прошептал он. – Мне было дано увидеть...

То тут, то там в садах, спускающихся к озеру, в легких зданиях загорались огоньки, вспыхивали пятнышки золотистого света. Над головой, тихо жужжа, кружил аэроплан – еще одна звездочка.

Мимо него по ступеням сбежала тоненькая девушка, но, заметив его, остановилась.

– Вы ведь один из землян? – уловил он вопрос: неяркий луч, вырвавшийся из ее браслета, скользнул по его лицу.

– Я попал сюда сегодня, – ответил мистер Барнстейпл, шурясь и стараясь рассмотреть ее в темноте.

– Вы тот, который был один в жестяной машине с резиновыми воздушными мешками на колесах, очень ржавой снизу и выкрашенной в желтый цвет. Я ее видела.

– Это вовсе не такой уж плохой автомобильчик, – сказал мистер Барнстейпл.

– Сначала мы подумали, что жрец тоже ехал с вами.

– Он мне не друг.

– Давным-давно в Утопии тоже были такие жрецы. Они приносили людям много бед.

– Он был с остальными, – объяснил мистер Барнстейпл. – Они ехали отдыхать, и я сказал бы, что, пригласив его... они сделали ошибку.

Она уселась на ступеньку выше него.

– Как это странно, что вы вдруг попали из вашего мира сюда, к нам. А вам наш мир кажется удивительным? Наверное, очень многое из того, что для меня привычно и обыкновенно, потому что я знаю это с рождения, вам должно представляться удивительным.

– Вам ведь еще не так много лет?

– Одиннадцать. Я сейчас изучаю историю Века Хаоса, а в вашем мире, говорят, еще продолжается Век Хаоса. Вы словно явились к нам из прошлого, из истории. Я была в Месте Советаний, и я наблюдала за вашим лицом. Вам очень нравится наш сегодняшний мир, во всяком случае, гораздо больше, чем другим вашим соплеменникам.

– Я хотел бы прожить здесь всю свою остальную жизнь.

– Но возможно ли это?

– Почему же нет? Оставить меня тут будет легче, чем отослать обратно. Я не был бы особенно большой обузой. Я ведь прожил бы здесь только двадцать, ну, самое большее, тридцать лет и постарался бы научиться всему, чему мог, и делал бы все, что мне говорили бы.

– Но разве в вашем собственном мире вас не ждет никакая работа?

Мистер Барнстейпл ничего не ответил. Он словно не расслышал. Через одну-две минуты девочка снова заговорила:

– Говорят, что пока мы, утопийцы, юны, пока наше сознание и характер еще полностью не сформировались и не созрели, мы очень похожи на людей Века Хаоса. Мы в этот период бываем более эгоистичны – так нам объясняли; жизнь, окружающая нас, еще полна для нас стольких тайн, что нам бывает присуща тяга к приключениям, к романтике. Наверное, я пока еще эгоистична... и меня тянет к приключениям. И мне по-прежнему кажется, что в этом прошлом, несмотря на множество ужасов и жестокостей, все же было немало такого, от чего дух захватывало, самого замечательного... В нашем прошлом, которое так похоже на ваше настоящее... Что должен был чувствовать полководец, вступая в покоренный город? Или король на своей коронации? Или богач, изумлявший людей своей властью, своими благодеяниями? Или мученик, когда он шел на казнь во имя благороднейшего дела, которое его слепым соплеменникам представлялось злом?

– В романах или исторических книгах такие вещи выглядят гораздо более заманчивыми, чем в жизни, – подумав, ответил мистер Барнстейпл. – Вы слушали мистера Руперта Кэтскилла, последнего из выступавших землян?

– Мысли его были романтическими, но вид у него совсем не романтический.

– О, он прожил чрезвычайно романтическую жизнь. Он не раз доблестно сражался на войне. Его взяли в плен, а он бежал вопреки всем трудностям. Его буйное воображение принесло смерть тысячам людей. Скоро нам предстоит увидеть еще одну романтическую фигуру – лорда Барралонга, которого должны привезти сюда. Он сказочно богат – и он старается поражать людей своим богатством... совсем, как в ваших мечтах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.